

ЛЕСНИК

ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ

ДЕТГИЗ 1959

4 р. 80 к.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



ЛЕСНИК

Лесные тропы

Рисунки А. Карасика



Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Ленинград 1959

«Можно долго бродить по лесу и не заметить ничего. Стоят деревья, тенисто, сыро, летают, пищат какие-то птицы: вот и все. Пустая прогулка!» Так начинается очерк Лесника «О разведочном деле», которым открывается сборник «Лесные тропы». Чтобы не было таких пустых прогулок, писатель-натуралист помогает читателю увидеть, понять, изучить лес и его обитателей.

С первых же рассказов, с первых строк вы попадаете в лес, на озеро, в болото и открываете удивительные тайны природы: ее запахи, ее шорохи, непостижимую ее красоту.

Евгений Васильевич Дубровский недаром выбрал себе псевдоним: Лесник — человек, до тонкости знающий, чувствующий природу, прошедший по неисчислимым ее тропам.

В эту книгу вошли рассказы из лучших сборников Лесника — «Лесные были», «В лесу», «Далекie годы». В них юный читатель найдет и полезные практические советы («На рыбной ловле», «Живые часы», «Ловушка-богатырь» и другие), и наблюдения натуралиста («Птенцы», «Охота за грибами» и др.), и забавные и грустные истории из жизни зверей.

Многие из рассказов относятся к давнему времени — 50—60 лет назад. Читая их, надо иметь это в виду. Но, тем не менее, они доставят радость всякому, кто любит природу: научат быть в лесу разведчиком и следопытом, наблюдать повадки животных и жизнь растений, помогут почувствовать себя хозяином природы.



В ЛЕСУ



О РАЗВЕДОЧНОМ ДЕЛЕ

Можно долго бродить по лесу и не заметить ничего. Стоят деревья, тенисто, сыро, летают, пищат какие-то птицы; вот и все. Пустая прогулка!

Берег реки иному покажется скучным. Выкупался, закинул удочку, да рыба не клюнула — ну, и пошел прочь. Неудачно, верно.

В болоте, пожалуй, уже совсем нечего делать: там, кроме грязи да гадкого запаха, что же может быть? А есть.

Везде много интересного, только надо уметь искать, надо научиться, привыкнуть повнимательней смотреть, слушать и даже нюхать.

Например, удивись: у каждого костра свой запах.

Детем пахнут, крючась в огне, ветви березы; ярко вспыхивают смолой даже зеленые иглы сосны; едкой горечью отдает, сторая, осина. А вкуснее всех, какими-то духами, пахнет маленькая тепlinkа из тонких прутьев полусухого тальника!

С закрытыми глазами постой в чернолесье под березой, послушай, как шепчут ее листья. Пройди в бор и около сосны опять зажмурься: услышишь, что тонко-тонко звенит ветер в ветвях, а не шелестит.

Хорошо, если есть ружье, рыболовные снасти, западня для птиц. Тогда охотник поневоле научится быть осторожным, зорким, чутким. Зевака, растяпа всегда придет домой с пустыми руками: его перехитрят даже чижики и караси, спрячутся, не попадутся.

Но и для тех, кто не стреляет, никого не ловит, не имеет лодки для катанья, не ищет ни грибов, ни ягод, все-таки лес и вода полны неисчислимого интереса,

Лягушка, выпучив глаза, сидит на листе кувшинки. Пустяк? Нет, почитай-ка, какие бывают лягушки: крошечные, с орех, по деревьям прыгают. А лягушка-бык весит 600 граммов и орет так, что ее за два километра слышно. Где такие водятся?

Прежде чем идти на разведку в лес, загляни в сад, в огород. Когда брызнет песня скворца, последи, запиши, сколько гусениц после пения принесет в свой домик певец.

Как проверить цифру? Да перейди к другому скворечнику и сосчитай: там должна быть в точности такая же добыча.

Лесные жители похитрей садовых. За теми походишь, полежишь бревном, посидишь камнем, пока увидишь, как живет зяблик. Он гнездится на березе, поет громко, как будто и не прячется, а иной раз смотришь, смотришь да лишь на третий день разглядишь, что зеленый комок мха на ветке не комок, а зябликово гнездо. Никогда его не трогай!

Букашку на листе не пропускай, осмотри, — куда ползет? Что за букашка, с крыльями или только ползет? Откуда взялась, не оставила ли следа? Не прилетит ли кто за ней?

Мохнатых черных червяков, ползающих по деревьям в лесу, ест только одна птица. Она похожа на ястреба, но она не из хищных. Она не из певчих, не поет. И нельзя сказать, что она кричит. Но ее голос, всегда свежий, звучит весной лучше всякого пения, когда зазеленевший лес просыпается от зимнего сна. Что это за птица?

Ну, вот! Так тебе все и расскажи. Сам походи, послушай, да и догадайся: не мудреное дело.



В ЛЕСУ

С тех пор как я стал помнить себя, я помню и лес. Из окон того дома, где прошло мое детство, виднелась синяя зубчатая полоса по краю неба. Это длинной темной стеной стоял лес.

Что там, в лесу? А за ним что? Дорога? Вон прямо как по нитке тянет паровоз вагоны, дымит и уходит. Куда? Поезда не видать, только белые облачка клубами летят над деревьями.

Река блещит, извивается по зеленому лугу и пропадает. Где она? В лесу скрылось всё. А нет ли там моря, гор, необыкновенного города?

Ночью ветер визжит и воет в трубе, стучит заслонкой в печке. Грохот какой-то на крыше, точно там кто-то царапается. Спать хочется; трещит сверчок, нянька бормочет знакомую сказку. В лесу живут крылатые змеи, птицы с железными носами.

А над потолком опять возня, скрип, топот, глухой протяжный шум. Кто там стучит? Уж не прилетел ли вправду на крышу какой-нибудь железный нос, да и воет?

Нет, это шумит лес.

Утром крыши, двор, березы блестят так, что смотреть больно: снег выпал. Лес стоит белый, точно ватой завесился, только верхушки торчат синие.

Скрипа полозьями, въезжает к соседям на двор обоз: дрова привезли. Откуда? Понятно, из лесу.

Около саней шагают какие-то закутаные, с белыми сосульками на бородах, сердитые, ругаются.

Гнедой лошадию правит Алешка Пучков. Я его знаю — он не прогонит.

— Алешка, можно прокатиться?

— Садись!

А сесть-то некуда. На санях позади дров только узкая перекладина — поставить ноги. Я на нее вскакиваю, цепляюсь за веревку. Дрова у меня под носом. Как хорошо они пахнут! Лесом, что ли?

Лошади мохнатые, все в белых иглах, в сосульках. Они вздрагивают, фыркают, гремят бубенцами. Мужики идут в дом, толпятся, галдят, теснятся, всю переднюю загородили. Сюда ставят большой стол, подают самовар. За чаем все добрые, смеются, шутят. Один старый, тощий, с кривым носом, — Иван Пучков. Я его тоже знаю, — это Алешкин отец. Он распоясался, вынул из-за пазухи тряпицу, развернул, а там — большущая рыжая лапа с черными когтями.

— Вот, — говорит старик, злуще кривя рот, — вот подарочек привез. Алешкина добыча.

Тут все загалдели сразу — хорошенько не понять, о чем. Спорят, бранятся, смеются над кривоносым стариком. Тот вскакивает, машет руками на Алешку и кричит:

— Вот тебе шкура, дурак! Заработал. Тьфу!

Рыжая когтистая лапа летит через всю комнату к двери. Алешка, красный, кидается ее поднимать, подает старику. Тот отмахивается. Лапа опять летит на пол. Старик Пучков сердится так, что плюется.

— Себе возьми! — орет он, тряся бородой. — Шубу сшей! Сказано было толком: Алешка, не привязывай капкан. Нет, он по-своему, по-дурачки, привязал. Зверь попрыгал бы, попрыгал с капканом, да тут и сел. Это уж верно. А на привязи он тебе сидеть не будет. Как закоченела лапа, он ее отгрыз, да и ушел. Станет тебя, дурака, волк ждать. Как же!

Волк? Значит, лапа-то волчья? Почему рыжая? Волк серый, кто же не знает. Зачем он отгрыз лапу? Как ушел на трех?

Надо расспросить. Но со мной не разговаривают. Я караулю; когда Алешка идет к лошадям, бегу за ним.

— Алешка, за что тебя отец ругал? Покажи капкан. А волк какой? Парень покрикивает на лошадей, скалит зубы.

— Много будешь знать, скоро состаришься.

И отъезжает от сарая к дому. Там на крылечке стоит какой-то. Чудной. Лицо у него красное, мокрое, распаренное, точно из бани.

Он валится в сани, копошится там, хохочет и орет мне в ухо:

— Эй, старик, садись ко мне! Поедем в лес волков ловить!

Смеются они надо мной, понятно. Алешка про старость болтает, этот стариком дразнится, а мне всего семь лет. И волка мне не поймать. Вон Алешка почти большой, да не сумел, ушел волк, только лапу в капкане оставил.

Вот так штука: волчья лапа в капкане. Нигде, кроме леса, не может такого быть. Я с завистью смотрю вслед отъезжающим. Они закутаны, точно чучела. Они качаются, болтаются в санях, размахивают кнутами. Лошади несутся вскачь. Скрылись за поворотом сани, только бубенцы звякают.

Счастливые! В лес поехали.

Скоро приходит со связкой тетеревей Егор Безрукий. Это огромный охотник с большущей бородой. Рука у него одна; вместо другой болтается что-то в рукаве, а самой руки нет. Не попал ли он в капкан? — хочется спросить. Но стыдно. Я спрашиваю только:

— Отчего одни тетерева черные, другие пестрые?

— Иначе нельзя, — объясняет Егор, — черныши — косачи. Видишь, у них на хвостах косицы. Рябые — тетери. Понял?

Ничего не понял.

— А как ты их поймал? В капкан?

— Да я их не ловил. Они сами ко мне прилетели. Поедем в лес, покажу, как тетерева стреляют.

Я больше не расспрашиваю. Не стоит. Смеется надо мной Егор. Разве тетерева прилетают к охотнику?

— Черныш — петух, — ухмыляется великан Егор, разбирая связку тетеревей, — он маленько поостроже. Тетерка — курица, вовсе глупая. Понял?

Опять ничего не понял. Все какие-то загадки. Краснобровые птицы висят на плече у Егора вниз головами. Я щупаю тугие крылья, плотные гладкие перья, и удивительное дело — от птиц пахнет так же, как от поленьев на возу. Опять лес, что ли?

Ходит к нам еще другой Егор — маленький, тоже охотник. У него всегда такое лицо, как будто он хочет плакать, но он очень добрый.

Кроме дичи, он каждый раз приносит подарок: кузовок с ягодами, а зимой корзиночку, свистульку.

— Место наше высокое, чистое, — говорит маленький Егор, — в бору

живем Гриба девать некуда. Ребят у меня куча, мал мала меньше. Поедем к нам в бор?

Что значит — в бору? Как это дети мал мала меньше? Я не очень хорошо понимаю, но этот Егор не насмехается. И я отпрашиваюсь к его детям в гости.

Мы едем в телеге тихо, долго, очень хорошо. Лес стоит по обе стороны дороги. Вдруг телега круто поворачивает, ныряет в канаву. Я вскрикиваю, хватаюсь за передок.

— Ничего, не бойся, — улыбается Егор, — чем там по камням трястись, по мягкому лучше поедем.

Лошаденка глухо шлепает копытами по немощеной земле. Телега катится под самыми деревьями. Ветки задевают меня по лицу, гибкие, мягкие, влажные. Я не прячу головы: мне нравится прикосновение свежих листьев.

— Шапку держи, паренек, — остерегает Егор, — смотри, как бы глаз не выхлестнуло.

У верхушки дерева лазит зеленая птица. Она отчетливо свистит, точно выговаривает:

— Фиу-лиу!

Какой славный, чистый голос у нее! А нос красный. Хороша птица. Егор взмахивает кнутом. Птица, встрепенувшись, летит, пересаживается на другое дерево и резко кричит:

— Вя-я!

Точно кошке на хвост наступили.

Лошаденка плетется шагом. Я вылезаю из телеги, бегу по тропинке рядом с дорогой. Вижу — в траве валяется березовый обрубок. Хлоп его палкой! Обрубок зашумел, как самовар. Из-под коры его пулей вырвался какой-то страшный, полосатый, больно хватил меня за ухо и улетел, грозно жужжа, на прозрачных крыльях.

Я успел только крикнуть, а ухо уже раздулось.

Егор остановил лошадь, слез, подошел ко мне, взял горсть сырой земли и прилепнул мне на ухо.

— Легче будет, — объяснил он, — от пчелы земля лучше всего помогает.

— Да это не пчела.

— Ну слепень либо овод — все одно. Садись, поедем. Вперед не будешь зря палкой стучать.

И он опять дремлет. А мне хочется плакать. Я потихоньку от Егора отковыриваю землю с уха. Егору хорошо говорить «все одно», а у меня ухо лепешкой висит, и я даже не знаю, как называется мой обидчик.

Слепень? Нет. Слепни пристают во время купанья, у них крылья точно пылью посыпаны. Шмель? Тоже нет. Шмель толстый, мохнатый, черный...

Года через четыре в коробке под стеклом я увидел знакомые крылья, полосатое острое брюхо и закричал:

— Вот такой жук меня укусил!

Большие смеялись.

— Это не жук. Это самая крупная оса, шершень. И кричать нечего: шершень давно на булавке.

Но я в ужасе держался за ухо. Мне казалось, что оно болит и снова висит толстой лепешкой. Так живо вспомнилось нападение первого врага в лесу.

За ухо там меня больше никто не хватал. Но рысь, загнанная собакой на дерево, угрожала мне когтями. Медведица, выскочив из берлоги, шла на меня с ревом. Зловеще молчала лесная глубина в ответ на мой крик, когда я заблудился среди смрадных топей. Трудно пробираться в палящий зной по дикой трущобе. Ноги стучаются о валежник, откальзываются переступать через поваленные деревья, пни торчат, везде черные узловатые корни повысунулись из земли. Жажда мучит, комары жгут, сил нет идти, — и вдруг ручей, прозрачный, холодный, красная земляника выглядывает из травы.

Много врагов и друзей в лесу.

Я плыл на плотах по бурным рекам, ночевал в сказочно малых избушках, тушил чудовищный лесной пожар, видел, как дерево превращается в доски, в лапти, в бумагу, в скипидар. Отряды рабочих выводил я в глушь, в морозную мглу зимнего леса. Тысячи лесных великанов, срезанные пилами, рушились в сугробы, лишались под ударами топоров своих ветвей и валились в бушующие волны горной реки. Когда шел сплав, то принесенные течением бревна километров на тридцать загромождали широкую реку так, что с берега на берег можно было перемахнуть верхом на лошади.

Прежде чем в летнюю жару успеют обсохнуть бревна, их уже вытаскивают и распилят. От огромной груды не останется ничего. Даже щепки и опилки проглотит печь лесопильного завода.

Так это гибель, истребление леса?

Ничего подобного. При правильном хозяйстве планомерной рубкой уничтожить лес нельзя. Пока на одном конце участка лес рубят — тут лесосека; на другом конце — молодняк — тут лес отрастет. Он снова возникает из почти незримых семян, бесчисленно рассеянных ветром в заботливо приготовленные борозды. Нежно-зелеными иглами выглянут из земли будущие сосны и ели, лиственницы и кедры. Сумей, лесовод, затенить юную поросль, чтоб не сожгло ее солнце, чтоб не топтались по ней копыта, не шагали невежественные ноги. Тогда на месте старых пней, умело выкорчеванных вовремя, возродится лес; задышит могучим благоуханием, возобновит тенистый приют для дикого мира бегающих, летающих, ползающих существ, снова приготовит дрова, смолу и ягоды, дичь и орехи. Неистощимая сокровищница — лес!

Давно составлены правила разумного пользования лесом. Им нужно научиться, их должно знать.

Но, кроме того, необходимо подсмотреть, что губит дерево, как продолжает уродливую жизнь пень, чем заняты муравьи в своих кучах, так резко пахнущих в полдневный зной? Без какого дерева не покажет

своей шляпки рыжик? Где любит прятаться груздь, едкий гриб? Его не трогает заяц, не клюнет птичий клюв: жгуч молочно-белый сок свежего груздя. А для солки лучше нет гриба, чем груздь. Как же так?

В лесу для того, кто его не знает, на каждом шагу большие и малые тайны, везде чудятся загадки, затруднения, кажутся неодолимые препятствия. На самом деле ничего этого нет. Хмурый темный лес проще, доступнее, чем открытое ясное поле.



ДЫХАНИЕ ЛИСТЬЕВ

Развертывая свои длинные зеленые почки, заметнее всех пахнет тополь. Его клейкие темно-зеленые листки весной откуда-то достают смолу, вообще, казалось бы, не свойственную этому дереву, и тягучесладостный аромат блестящих листков летит далеко, особенно чувствуется, когда впервые после морозов теплые сумерки полупрозрачной мглой кутают еще не просохшую землю.

Ива благоухает дивно. Она неприхотливо растет в грязи, где попало, по проезжим дорогам. Она выкидывает почки еще по снегу, жалкая, наивно-убогая пальма севера — верба. Эти крупные пушистые пупырки, так смешно напоминающие крошечный заячий хвост, не имеют запаха: пахнут появившиеся значительно позже их мелкие, почти незаметные, желтовато-розовые цветы, пахнут крайне слабо. Там, где земля слишком долго покрыта льдом и снегом, где все молчит в тягостном сне почти полярной зимы, там вдруг ошеломляет прелесть тончайшего благоухания: то тянутся по окраинам леса бесконечные заросли ивы; она цветет при первом дуновении весны, и скромные, маленькие цветы ее сливают свои дыхания в очаровательный и нежный аромат, не сравнимый ни с какими духами.

Осина надувает толстую пухлую почку, темную, горьковатую на вкус; ее любят клевать глухарь, тетерев, рябчик — все дикie лесные куры, так жадно преследуемые человеком за особенный вкус их мяса. И ясно дышат горечью только что развернувшиеся листья осины. Распустившись вполне, они тотчас начинают пахнуть... гнилью.

Невзрачна, суха, как будто безжизненна мелкая жесткая почка березы. Это хитрость, притворство, чрезмерная недоверчивость, во всяком случае затаивание своих достоинств. Береза, помня ужас зимы, когда приходится заживо изображать мертвеца, побаивается холода, не верит мимолетным взглядам солнца. Зато, когда его лучи, прогрев от корней до вершины, разбудят ее вполне, докажут, уверят, что весна действительно пришла, каким восторгом почти мгновенного расцвета вспыхивает береза под первым теплым дождем!

Едва успеют скатиться его алмазные капли, как на березе уже нет ни коричневых почек, ни темных ветвей: там висит нежно-зеленая дымка, выются легким облаком тонко-зеленые кудри, колеблется прозрачно-зеленый туман, сотканный из множества еще сморщенных, полусвернутых листков. И свежий березовый дух полон своеобразной прелести.

В лесу, где смешиваются тысячи запахов цветущих и тлеющих существ, всегда ясно слышно спокойное, здоровое дыхание березы: оно неизменно, сильно, чисто, как прозрачная вода ключа.

Свернув в красноватые трубки свои лапчатые листья, клен не выпускает их надолго: он упорно ждет. Ему, несомненно пришельцу с дальнего жаркого юга, нужно много света и тепла. Когда, прокатившись в небе веселым грохотом, ударит первый гром и потрясенные волны воздуха повеют хотя бы на миг летним зноем, тогда клен живо-живо развешивает узорчатые цепи широколапчатых листьев. Увы! Они не пахнутнисколько. В скудной ли почве севера нет тех соков, что дали бы аромат, недоволен ли здесь клен чуждым ему солнцем, не умеющим греть как следует, — клен стоит зеленый, тенистый, прекрасный, но дыхание его незаметно.

Дуб дышит бурно. Какой крепкий, какой ядреный воздух не только в дубовой роще, но даже в густой тени одинокого богатыря, едва успевшего одеться темно-блестящей зеленью! Он стоит голый, когда весь лес уже нарядился в весенние листья. Холода боится? Ни в малейшей степени. С силами собирается? Да ничуть, сил хоть отбавляй. Просто не спешит. Листья у него, если угодно поближе посмотреть, есть; почки, похожие на орехи, он развернул давно, но темные крепкие листки так малы, так плотно прижаты к черным ветвям, что дерево кажется голым. Куда торопиться? Медленно, верно растут листья дуба. Могут налетать какие угодно бури, возвращаться трескучие заморозки: дубовый лист преждевременно не пожелтеет, не упадет. Все крепкие, сочные, затыливо-зубчатые листья дуба продолжают полнеть, увеличиваться, зеленеть не бледным цветом трав, а темной зеленью морской глубины. И крепкий, бодрящий запах их, сорванных с дерева или живых, колеблемых ветром, напоминает соленое дыхание океана.

Не все с почек начинают весеннюю жизнь; есть такие, что, не развернув ни единого листа, сразу одеваются цветами. Осыпанные бледно-розовым снегом, стоят яблоня и вишня, и слабым ароматом горького миндаля дышит их нежный, прелестный наряд, легко сдуваемый ветром. А есть и такие, что не только цветов, но ни почек, ни листьев ни-

когда на них не бывает. Мертвецы? О, нет! Незримо меняя иглу за иглой своей хвон, они кажутся неизменными, равнодушными к лету и зиме, безучастными к жизни, холодными весной. Все это неверно.

Чудно дышит старый бор, и полно сладостных сил его могучее дыхание. Оно в полдневный жар совершенно ясно, несомненно пахнет медом, хотя среди сосновых стволов, давно потерявших нижние сучья, на сухом ковре опавших игл, очевидно, собирать мед не с чего, и ни одной пчелы там нет. Не те ли самые ароматы, принесенные работницами на прозрачных крыльях с цветущих трав, собираются в таинственной темноте ульев, что здесь, копаясь в песке между камнями, как-то добывают слепые корни, а солнце в золоте смолистых соков гонит вверх?



ССОРА

Прямо с прилета скворец брызнул веселой песенкой в безлистных еще ветвях березы.

К тому домику, где он вывелся и оперился прошлой весной, скворец прилетел со своей подружкой. Рассказал ли он ей об этом домике-ящике, приютившем выводок из шести птенцов? Обещал ли устроить ей в нем свое гнездо? Или она вывелась также тут, быть может, на ближайшей березе? Они летели сюда несколько дней среди сотен других скворцов, летели над морем, грозно шумевшим седыми волнами. Снежный вихрь трепал всю их стаю, точно кучу сухих листьев, и многие посыпались вниз такими мертвыми листьями. Но двое из уцелевших спустились на березу у намеченного домика. Однако оказалось, что он занят. Крикливое сердитое чириканье слышалось из него: там сидели воробьи. Как же так? Ведь это скворечник, а не воробьятник. Стоило лететь сюда из-за моря, чтобы увидеть подобное нахальство! Занять чужой дом...

Песенка скворца оборвалась. Он свистнул обиженно, сердито и запрыгал с ветки на ветку, угрожающе ероша перья. Его подружка попискивала тихонько, нежно, и крылья ее слегка трепетали. Не улететь ли? Не поискать ли другого места для гнезда?

Кому понравится начинать новую жизнь с драки?

А воробьи в скворечнике, чирикая наперебой, кричали резкими, трескучими голосами. Они поселились в этом домике еще зимой. Ну да, они нашли там растрепанное гнездо и много всякой дряни. Что ж из того? Почему известно, что гнездо и вообще весь дом вот этих скворцов? Этак всем, взявшимся неизвестно откуда, сейчас и уступай свое жи-

лище. Они, воробьи, живут тут всей семьей, у них дети маленькие, и на свое место не пустят они пролетных бродяг.

Воробьи чирикали и возились в скворечнике все сильней. Имело чирикание обидный смысл или просто надоела скворцу вся эта трескотня, но он стрелой юркнул к своему домику. Сейчас он выкинет вон оттуда дерзких негодяев, заграбивших его жилье. Злобно раскрыв клюв, скворец просунул голову в леток, но, прежде чем он успел кого-нибудь клюнуть, на него с двух сторон посыпались такие клевки, что он не знал, как ему убраться. За ним растрепанные, взъерошенные высочили супруги-воробьи и зачирикали, чуть ли не кувыркаясь по земле. Нет, они своего никому не уступят, вон какую задали взбучку — не суйся с носом в чужое гнездо! Они вспорхнули и, продолжая нахально чирикать, улетели — не то хвастать по соседям своей победой, не то за кормом для птенцов. Скворец, посвистывая, смущенно прыгал вокруг своей подружки. Что будешь делать? Ругатели, драчуны воробьи отъелись тут, сидя на домашних хлебах. Да еще двое на одного. Прогнали, прибили. Придется искать другого места для гнезда.

Человек, заметив всю эту пискотню, всю возню, понял только то, что скворцы дерутся с воробьями из-за жилища, и повесил на соседнюю березу еще домик. Ворона же, смотря на все, кое-что сообразила, быть может подслушала. Как только воробьи отправились по своим делам, ворона подлетела к воробьиному скворечнику, засунула в него свой длинный клюв, вытащила одного за другим пять полуоперившихся птенцов, проглотила их и уселась на забор, спокойно чистя клюв. Она вертела головой, довольно посматривая кругом. Все в порядке. Очень хорошо. Не каждый день удастся так пообедать!

А у нового домика в ветвях березы свистела, пузырилась, брызгала веселая песенка. Там скворец, позабыв недавнюю драку, пел о любви своей подружке.



РЫСЬ

Я стоял на тяге в Ямском бору под городом Владимиром на реке Клязьме, недалеко от железнодорожного полотна. Близко пролегла и проезжая дорога. На ней где-то в ясной тишине весеннего вечера мед-

ным голосом заливисто болтал колокольчик. Вальдшнепы должны были лететь, и мелкой дробью заряжена была моя одностволка.

Вдруг послышались прыжки, и сквозь ветви безлистого куста показались чьи-то лапы. «Зверь? Какой? Не все ли равно?»

Без дальнейших соображений я выстрелил туда, в лапы. Там кто-то зарычал, зафыркал, зашипел. Это было так страшно, что я убежал.

Когда с заряженным вновь ружьишком я вернулся, то шагах в двадцати от того места, где раньше стоял, я нашел уже мертвую рысь.

Обе передние лапы ее болтались перебитыми, но она все-таки успела отползти порядочно, прежде чем ткнулась мордой в мох. Кошка, большущая кошка в пестрой пятнистой шубе, с коротким, странно торчащим вверх хвостом. Я слазил к ней в рот: у-у, какие зубищи! Брюхо белое мягкое, а на каждом ухе кисточка из черных жестких волос.

Весом своей роскошной добычи я наслаждался едва ли не чересчур. Часа три тащил рысь на спине за задние лапы, а в руках ружье. Взмок, измучился совершенно.

Но зато при входе в дом был вознагражден вполне. Какие крики, аханья, даже слезы. Этакого зверя убил! Да как приволок? Пуда полтора в зверине будет, не меньше.

— Котенок, — презрительно сказал старик охотник, зашедший по соседству посмотреть на редкого зверя, — видишь, бороды нет. Ты все-таки, паренек, в другой раз поосторожней. Рысь может человека в клочки разорвать.

Очень давно все это произошло, но я помню ясно, как поразило меня завистливое замечание старика. Котенок? Откуда же он взялся? Значит, где-нибудь тут близко другие котята, все их гнездо, старая рысь с породой?

Года три потом я лазил по всем трущобам окружающих лесов, отыскивая логовище рыси, обшарил все овраги, провалы, все глухие уголки леса. И ничего не нашел бы без ворон.

Каркающая стая жадно совалась, лезла куда-то в землю. Что такое? В промоине, в каменной яме под корнями упавшей ели, устроила свое гнездо рысь. Догадаться о том было просто: задние лапы огромной пестрой кошки валялись около ямы, и над ними хоть плохо, но все же торчал знакомый мне короткий хвост с черным пятном на конце.

Что тут произошло? Загрыз кто-нибудь рысь? Или она, смертельно раненная, приползла к логовищу, и тут ее расклевали вороны?

На всякий случай я пошарил палкой в черной глубине ямы-логовища: ничего, кроме смрада. У лаза в яму слежались гнилые груды каких-то мелких костей и остатки перьев. Кто, куда унес голову и передние лапы рыси, я узнать не сумел и ушел. Вороны тут же принялись доканчивать их добычу.

Хитро прячет рысь свое жилище. Я десятки раз проходил мимо этой промоины и до вороньего пира никогда ничего не замечал.

Очень вредный зверь, свирепый хищник — рысь. Она ест мало, губит много — не доедает рябчика, а ловит зайца, глухаря. Расскажам о том,

будто рысь кидается с дерева на лося и загрызает огромного быка, я не верю. В течение трех десятков лет я опросил множество охотников, не видал ли кто если уж не тушу лося, погубленного рысью, то хоть рубцов на затылке у лося от рысских когтей? Нет, видали многое в лесу, но чтобы рысь кидалась на лося, — нет, такой чепухи никому не случалось видеть.

Когда я разрезал и пощупал кожу на шее у лося, то даже спрашивать насчет рысских нападений на лосей перестал. Пальца в два толщинной лосиная шкура на шее и чрезвычайно упруга. Не по когтям, не по зубам рыси подобная ткань!

Напрасно также тогда, давно, пугал меня, четырнадцатилетнего стрелка, старый дядя. Не бросается рысь на человека, не станет рвать его в клочья никогда. Конечно, хватать голыми руками не следует даже домашнюю кошку, когда она сердита. Рысь может жестоко исцарапать, укусить страшно, но рысь труслива, удирает от лая ничтожной собачки.

След рыси кругл. Он отчетливо отпечатывается мягкой лапой. Когти на бегу рысь выпускает редко — от утомления, от страха, со злости; кто же ее знает отчего.

Если по следу рыси, так ясно видному на рыхлой белизне пороши, пустить мало-мальски голосистую собаку, то злобная, отлично вооруженная кошка леса совершенно глупо спешит вскарабкаться на дерево да еще оттуда шипит, фыркает и корячится на собаку. Тут выстрелом снять рысь совсем пустое дело.

Однажды на облаве, когда я ждал зайца или тетерева близ станции Чудово Московской дороги, в ясный полдень, из мелких кустов на чистое место в десяти шагах от меня по-заячьи наивно выскочила рысь. Это был старый самец с седыми баками, и я убил его наповал опять-таки мелкой дробью.

Не заметил я какой-либо крепости на рану у рыси.

У деревни Кавоши, километрах в пятидесяти от Ораниенбаума, в конце осеннего дня облава подходила к стрелковой линии. Я стоял крайним и уже видел загонщиков, показавшихся в лесу. Значит, нечего больше ждать. Вдруг я заметил, что два зверя быстрыми прыжками перебежали полянку и метнулись к старой, почти сухой сосне, стоявшей одиноко. Я вложил в стволы картечь, подошел к дереву и двумя выстрелами свалил двух рысей.

Странно было, что они, при полной к тому возможности, не убежали в густой лес, вместо того, чтобы на виду у толпы загонщиков скакать на полуголые ветви.

Подобные случаи не только с волком, даже с лисицей невозможны. Золотисто-красная шубка при первом крике загонщиков выходит в сторону из облавы.

Умеет выбрать место для логова, хорошо прячет свой выводок рысь, но ни какой-то особенной хитрости, ни даже простой осторожности в бытке у рыси нет. Кровожадный этот хищник губит много дичи, но для

человека не опасен. Рысь надо истреблять, и смело можно идти за ней с первой попавшейся шавкой да с самым плохоньким ружьишком.

Пятимесячного рысенка я держал на коленях. Он приблизительно половину своей жизни провел в зверинце. Это было премилое существо ростом с очень крупного сибирского кота, ласковое, мягкое, как пух, в своей чистой темно-пятнистой шубке. Грызть палец, всунутый ей в рот, Мурка отказывалась, но ела булку, пила молоко, казалась много добродушнее, чем домашняя кошка, посаженная к ней в клетку, чтобы не так скучно было в неволе, и ничем, решительно ничем не выказывала, что она, Мурка, — детеныш свирепого хищника леса.



ПЕСНЯ ЗЕМЛИ

От солнца на землю вместе с теплом и светом всегда летят невидимые, почти неведомые лучи. Обильно освещенные, согретые, постоянно пронизанные этими лучами, ярко цветут, роскошно зеленеют полуденные края земли. На север, закованный в лед, покрытый снегом, эти несущие жизнь лучи в течение ничтожного времени низвергаются потоком. И, сбрасывая свой зимний саван, северная земля, ослепленная, взволнованная, поет.

Огромно прелестную эту песню земли весной исполняет бесчисленный хор странных голосов. Соловей и зяблик, известные мастера на заливыстые трели, — среди певцов. Скворец брызнет, фыркнет, свистнет вначале, кукушка выступит в заключение хора. А запевалой является ворона. Эта серая собирательница всякой дряни на такой случай забывает карканье своих грязных будней и, устраивая гнездо, покрикивает ласково, нежно: весенняя ворона булькает, точно кто палочкой стучает по жестянке с водой. Этот слегка смешной звук — первый знак, что пора ручьям бежать из-под снега.

Тогда начинается журчанье вешних вод, и один за другим звучат дикие голоса.

Множество звуков входит в удивительный хор: шипенье, шелканье, чуфыканье, криканье, даже что-то вроде кваканья. Лягушки урчат протяжно, томно в начавшей теплеть воде.

Аист нем. У долговязой этой птицы нет никакого голоса. Аист только трещит, хлопая длинным красным клювом. Но в весенней песне север-

ной земли он должен хотя бы своей трешоткой принять участие. Зимует аист в земле бушменов, на юге Африки, а детей выводить является в другое полушарие земли. Гнездиться аист летит в Польшу, на Украину и почему-то в Лужский район Ленинградской области. На почве, пресыщенной жаркими лучами, в болотах, не замерзающих никогда, вечно копошится чрезмерно обильный корм для аиста. Но он от изобилия летит туда, где скудная земля таит смутное очарование непреодолимой силы.

Куда улетают на зиму соловьи, где проводят зиму кукушки? Это едва ли когда-нибудь удастся выяснить вполне. Но несомненно, что все пернатые певцы, украшающие своими голосами весенний хор, очень плохие летуны. Как они перебираются через море? Скворцы показывают как. Тысячи мертвых скворцов, длинными вереницами качающихся на мутных волнах, можно увидеть после шквала даже в Финском заливе. А придется певцам перелетать водяные равнины и пошире. Ждать хорошей погоды для перелета птицы не умеют. Летят как придется.

Понимают, что делают? Быть может, не очень ясно, но понимают. Как не понять, чем угрожает необозримая водная ширь, когда рванет ураган! Самым бедным мозгами головенкам видно, какая беда бывает от хищников, от сетей, ловушек и выстрелов. Боятся всего этого перелетные птицы, а летят, с непостижимой верностью отыскивая свой путь. Нелзя им не лететь. Скворцу сквозь бури и тысячи смертей необходимо перелететь через море для того, чтобы брызнуть песню на каком-то пучке прутьев у ящичка на шесте перед избушкой. Что такое? Неужели не нашлось нигде лучшего помещения? В стране тепла и света, среди роскошных цветов юга, только попискивает соловей, собирая червяков. А когда в темноте и сырости чахлого северного куста усядется соловыха на гнездо, свитое на нижних ветках у самой грязи, то тут он, соловей, грянет свою великолепную трель.

Случается, что поспешат явиться певцы на таинственный зов северной земли. Прилетели, а есть нечего: нигде ни букашки. Кругом снег, лед, гибелью дышит морозная ночь. Так тут смерть? Назад скорей во все крылья!

Никогда так не бывает. Забываются бедняги в какие-то тайники, отсиживают там голодные, холодные, жалобно пищат, но не улетают. Они упорно ждут, они уверены, что получают то, из-за чего они сюда стремились: радость иметь гнездо и в нем пiskuнов птенцов.

Эта радость дается только северной землей. На юге нет бушующих празднеств весны. И чем дальше к северу лежит земля, тем ярче вспышка, тем сильнее звучит песня земли, освобожденной из ледяного плена.

Там, где в упорном сопротивлении лучам солнца долго лежат толстые льдины, там особенно громко поет земля в прозрачном сумраке весенней ночи. Над едва оттаявшей тундрой стон стоит во время прилета птиц.

Так все эти крики и свисты, зычное гоготанье и едва слышный писк, весь этот птичий гам — лишь голоса пернатых, слетевшихся в безлюдную глушь?

Конечно, птицы заметнее всех в весенней песне, но пустыни остаются пустынями в разных поясах земного шара. Поет только земля севера. Тут в великой песне много участников будто бы совсем немых, видимому даже неподвижных.

Весна гонит соки растений от корней к вершинам. На севере это движение стремительно. Тут множество хилых трав спешит отцвести, дать семя и увянуть в слишком короткий срок. Они чуть-чуть шелестят, травы, в буйном произрастании, и почки лопаются с едва слышным треском, быстро надуваясь на ветках. Крикливая возня птиц заглушает эти слабые звуки, но их очень много. Не служит ли почти неслышный шепот растений основой весеннего шума? И кто скажет, какие токи бегут, дрожа, в земле, проснувшейся от долгого холодного сна?

А чем-то могущественно привлекает она к себе множество свободных крылатых существ из других краев мира, властно пьянит, дурманит своих пернатых — все для того, чтобы их голосами спеть неисчислимо старую, но вечно юную песню обновленной земли.



БЕЛЬЧОК

Весной, в ту пору, когда березы оделись зеленым пухом, лесник, возвратясь с обхода, вынул из кармана и положил на стол двух маленьких светло-рыжих зверьков.

— Бельчата, — объяснил он детворе, обступившей стол. — Один-то плоховат, озяб, должно быть; ночь очень свежая была, — а другой ничего: веселый.

— А мама их где? — спросила старшая девочка.

— Мамку их куница съела, — сказал лесник. — Я видел только клочья шерсти и кровь около гнезда. Вот сироток и подобрал.

Трехлетний Иван потрогал зверюшку гальцем.

— Они совсем маленькие, даже молока не едят.

Этому горю помогли просто и скоро. Тряпочку свернули соской, обмакнули в подогретое молоко, и один бельчонок принялся жадно сосать. Другой соски не взял, попискивал чуть-чуть и к вечеру перестал дышать.

— Окошел, — важно сказал Иван, — хоронить будем.

— Глупости, — заявила старшая, — никто белок не хоронит.

— А куда деваются окошелее?

— Не говорят: «окошелее». Надо говорить: «мертвые». Папа, куда деваются мертвые белки в лесу?

— Подбирают их волки, лисицы, вороны. Бельчонок снесите к оврагу, бросьте под куст и на другой день посмотрите — ничего там не будет.

Так и сделали. А живой бельчонок, насосавшись молока, сладко спал в корзинке с паклей. Через неделю его потыкали мордочкой в молоко, — он стал пить из блюдечка, а еще через десяток дней он, задрав пушистый хвост, сидел на задних лапах и, держа обеими передними сухарь, грыз его, весело поблескивая черными глазками.

— Бельчонок стал рыжим, как наша Лизка, — сказал Никитка, — и уши новые у него растут.

— Это не уши, только кисточки на ушах — поправила Лиза. — Сам ничего не понимаешь, а дразнишься.

Бельчонок да Бельчонок, — только и слышалось в домике лесника. Забот и хлопот стало много. Строили клетку. Кто же не слышал, что белка кружится в колесе? А вот попробуй-ка сделать такое колесо, чтобы оно плавно и легко вертелось.

Поспорили, поссорились, поругались, слегка подрались, все-таки смастерили клетку с колесом.

Когда в лесу засвистели иволги и красная земляника выглянула из травы, дети принесли домой пучки стеблей с ягодами, обрызганными росой. Тогда Бельчонок перестал пить молоко, а при виде земляники не то пищал, не то свистел:

— Чик-чик-чик!

Клетка его не запиралась никогда, Бельчонок прыгал по комнате, по кухне. На кота он очень смешно урчал, помириться с ним не мог, проворно удирал от него на шкаф и там фыркал испуганно и сердито. Собаки он не боялся.

— Орехов ему носите, — говорил лесник, — шишек еловых. Посмотрите, как он с ними расправляется.

Подняв за спиной пышный хвост, Бельчонок усаживался с шишкой в передних лапах, щипал и грыз ее так, что от нее клочья летели.

— Сам серый стал Бельчонок, точно мышь, а пузо белое. Отчего так? — спросил Ваня.

— Осень настала, — сказал лесник, — и заяц и лиса — все новые шубки надевают. Подожди, придет весна, опять порыжеет твой Бельчонок.

Был у серого пушистого зверька очень страшный враг — лесничиха.

— Покоя нет от постреленка, — жаловалась она, — лазит, вертится, прыгает от зари до зари, и все свое: чик-чик. Шиплет, треплет все. Стружки, щепки какие-то, сор везде. Завели забаву, так сами и прибирайте. Верка, Лизка, что ж вы?

Бельчок любил книги. Не то, чтобы он их читал, нет, но он разрывал их на очень мелкие кусочки удивительно быстро. От рукавицы он зачем-то отгрыз палец, чулок разделил на три части и одну из них утащил к себе в гнездо.

Едва стаял снег, Бельчок похудел, стал скучать, спать днем. В серой шкурке его проступили рыжие клочья.

— Пачкает везде. Хоть бы околел, что ли, — ворчала лесничиха. — У меня работы без него много. Вы что же, девчонки, за своей обезьяной не смотрите?

Ни ягоды, ни грибы, ни орехи, ни свежее дыхание летнего леса не поправили дела. Бельчок хирел и вел себя все хуже и хуже. Зазолотились листья, потянулись на юг журавли. Приехал в гости лесник из дальнего квартала.

— Вот что, — тихонько шепнул лесник приятелю, — увези ты нашу белку подальше и выпусти в лес. Может, там отгуляется. А тут подойдет, так слез не обобьется.

— Ладно, — сказал приезжий, — сажай в кошелку; сверху мешком прикрою, никто не увидит.

Телега покатила. Большой бородатый человек правил лошадью и спокойно курил трубку. Он даже не слушал, как под тряпкой в кошелке кто-то пищал, прыгал, царапал.

А в домике лесника поднялась кутерьма: пропал любимец!

— Бельчок, милый! — слышалось во всех углах домика. — Бельчок, где ты?

Поискали, погоревали, поплакали; решили, что убежал в лес Бельчок, — и скоро позабыли о нем.

В хмурый октябрьский день, когда дождь стучал в стекла, какое-то царапанье послышалось у форточки.

Бельчок, почти серый, вылинявший, веселый, сидел у окна и барабанил лапками.

— Бельчок! Бельчок! — закричали дети.

— Ах ты, жулик, — смеялся лесник, — где два месяца пропадал? Как дорогу нашел, три дня бежал, что ли?

Даже лесничиха улыбнулась, погладила беглеца, вздохнула и сказала:

— Ну что ж, живи, Бельчок; а все-таки, девчонки, убирайте за ним сами.

Но Бельчок прожил недолго. Прежде чем выпал снег, Бельчок опять пропал: его нашли мертвым в складке занавески, где он любил спать.



ВОЛЧЬЯ ЗАВОДЬ

I

Куда-то вдаль уходил отрог озера, загибаясь узкой длинной полосой воды в чашу кустов. Из рыбацкой лодки видно было только начало заводи, а в самый конец никак не удавалось заглянуть. Что там, в этой зеленой заросли? Не плавают ли там в тишине лебеди? Не расхаживают ли там осторожные длинноногие журавли? Это они кричат оттуда странными голосами или какие-нибудь другие, необыкновенные, невиданные птицы?

— Ничего там нет, — сердито отплевывался старый рыбак, — утки туда не садятся, рыба не водится. Только волки там пьют.

Ну вот. Значит, так и есть: особенное место.

— А как это волки пьют?

— Обыкновенно. По-собачьи лакают. Да ты нишкни, сиди смирно, егоза. А не то прогоню и в лодку брать не буду.

Сияет в свежей зелени безоблачное утро, блестит озеро. Старик вытаскивает из водной глубины морды — остроконечные продолговатые корзины, — и в брызгах, сверкая чешуей, трепещут по дну лодки крупные рыбы. Вот окуни пучеглазые, горбатые, с красными плавниками, вот лещ золотистый, широкий, как поднос. И щука плещет хвостом, раскрывает зубастую пасть. А в заводи-то что? Вот волков бы посмотреть!

— Незачем нам, паренек, в заводи ехать, — ворчит старик, — брось ты о ней думать. Тут лучше. Смотри, карасей-то что набилось. Наша рыба в тине живет, в грязи, потеплей любит; там ей не с чего жир нагулять: в углу-то вода холодная, чистая, ключи бьют.

— Дедушка, миленький, поедem в заводинку. посмотрим на волков. Они какие?

Рыбаку мои расспросы надоели.

— Мальчишка ты не маленький, — сказал он, — а дурак. Ну, мыслимое ли дело волка летом увидеть? Он и осенью-то сквозь голые кусты на глазах у тебя мышью прошмыгнет — не заметишь, а теперь везде лист, трава. Молчи, а не то прогоню!

II

— К Долгому озеру в конец с берега попасть знаешь? — спросил Я Степку-подпaska.

Он не раз водил меня в пойме по глухим тропинкам, показывал утиные лужи.

— В Волчью-то заводь? — ухмыльнулся Степка. — Как не знать! Тебе туда зачем?

— Мое дело. Сведешь?

— Очень даже просто. С гати, с коровьего гона, тут тебе и ход. Пойдем! Вот сюда полезай, — сказал Степка. — Мое дело показать, а вылезешь ли назад, не знаю. Съедят, того и гляди.

Он указывал на какую-то прогалину между кустами, где виднелась болотистая тропинка, уводящая в чащу. Тут можно пробраться к заводи. Сюда удирают волки, когда за ними тонятся пастухи; тут где-то волчьи гнезда.

— А это что?

Через несколько шагов зияла другая дыра.

— Да то же. Лаз. Их тут много. В какой ни влезь, все там будешь. А вот вылезти оттуда... Смотри, брат!

— Ты сам-то их не видал? Может, врешь?

— Вона. Сколько раз. Он ничего, волк-то, он человека зря не трогает. На него только чуть — он бежать. Ну, к гнезду не лазим, — нельзя, не полагается. Ежели их на гнезде-то тронуть, они такого зададут. Куда, куда ты завязла, козья душа! — закричал Степка.

И побежал выручать из грязи козу.

III

Густые кусты тянулись вдоль всей гати. Кое-где под нижними ветвями виднелись темные дыры. Вот они, волчьи тропы, отпечатки когтистых лап на грязи у входов. Волки ли наследили? А вдруг просто собаки набегали?

Тут по гати, по протоптанной скотом среди кочек болота дороге, местами кое-как замощенной хворостом, утром в пойму, вечером обратно в деревню тяжело бредет стадо; тут спутаны, сбиты сотни различных следов.

Степка бегал в сторону от гати то за коровой, то за овцой, хлопал кнутом, свистел, орал, подмигивал на заросль.

— Ну как, слазил? Нет? На словах-то боек, а тут, небось, скис. Фью-ю!

Кусты стояли молчаливой зеленой стеной. Посвистывали тонко маленькие кулики, крикали разными голосами утки, глухо стонала выпь, водяной бык. Кряковая утка, взяв клювом за шею каждого утенка, перенесла их с десятков пуховых, зеленых через колдобину и, озабоченно

побрякивая, пошла дальше; весь ее выводок, пищá, ковылял за ней. А волки? Никогда их не видеть, не слышать.

Вранье, должно быть.

IV

На утренней заре, в час тумана, тишины и сна, я вошел в узкий ход между кустами, раздвигая влажные от росы ветви. Скоро пришлось нагнуться: зеленый свод повис над головой, роняя холодные капли. Молодом колотилось сердце, но я полз, в смутном ужасе протягивая ружье вперед. Скользко, мокро, грязно, рой мелких мошек отвратительно лезут в лицо, какие-то мягкие нитки тянутся — паутина, плесень, что ли? — гадость такая, и пахнет скверно, гнилью. Но ни звука, ни движения. Где же кости, черепа, остатки растерзанных животных? Только липкая грязь и пронизывающая сырость.

А за кустами широкий зеленый луг и полоса воды, наполненная темно-красными отблесками. Вот он, таинственный угол, конец озера. Травы тут растут не смятые, не запачканные, не тронутые никогда никем.

Ну какие тут звери? Я, закинув ружье за плечо, походил по крепкому сухому краю берега. Видно было, как из темной глубины, точно серебряная, всплывает рыба и — бульк! — ловит мошку.

Сердитый вылез я сквозь мокрые кусты обратно на гать. Там тяжело шло привычной дорогой стадо. Мычанье, крик, ругань, бряканье колокольцев, шлепающая беготня по лужам, резкий запах коз, хрюканье свиней. И Степка хлопает, свистит, орет, хохочет.

— Ну как? Слазил? Видал? Никого не видал? Да где тебе. Тетеря!

— Проваливай! — ответил я со злостью. — Сам ты все только врешь.

Степка, ругаясь, убежал за стадом, а я пошел домой. Мне было очень досадно. Такое таинственное место, и ничего страшного.

V

Зазолотились листья, запахло яблоками в лесу, но дни стояли жаркие, ясные. Я охотился без собаки и не лазил больше по лужам — вода стала холодна; уток я поджидал на кормежке. Случалось все-таки провалиться в болото, зачерпнуть в сапоги; тогда сушиться, отдыхать, пить, есть я отправлялся за ограду из кустов, к ручью, ниспадавшему пенистой лентой с уступа берега в озеро. Там, в большом кусте, одиноко стоявшем почти у воды, я связал верхние ветви, а на них навалил грудой хворост. Дождь почти не пробивал этой крыши. Жестяной чайник, охотничья сумка, кафтан часто оставались в убежище, никто их не трогал.

В туманное росистое утро, мимоходом затаившись между кочками неподалеку от гати, я удачно подстерег на луже уток и убил пять больших, криковых. А на охоту шел в другой конец поймы. Не тащить же

этакую тяжесть, и я ушел, развесив неожиданную добычу в своем кусте. Когда возвратился перед вечером, на бечевке висели лишь три красные лапы.

Кто тут был, кто взял уток?

Уж не волки ли, в самом деле? Человек-вор унес бы всё с бечевкой. Эти оторванные утиные лапы меня и встревожили, и напугали, и обрадовали: значит, что-то тут есть.

Мне иногда казалось, что кто-то шныряет в густой заросли по краю лужайки. Какие-то тени как будто неслись, мелькали там. Шуршал лист, трещала чуть-чуть ветка. Ветер их шевелит? Не чудится ли мне после рассказней о волках?

Опять тишина, никого, ничего — ни движения, ни звука. Только ключ журча лепечет да пена его белая вечно тянется в озеро.

VI

Скучно и трудно охотиться без собаки. Я стал нанимать каких попало за пятачки, подманивал подачками бродячих. Одну, по имени Мальчик, я купил за тридцать копеек. Это был плутишка и вор, но очень послушный песик. На нескольких охотах он служил отлично. Шли мы почти всегда по гати, через коровий гон. До дома отсюда еще далеко, жажда мучит после долгого похода, а вода кругом только болотная; прозрачный, чистый, холодный ключ журчит там, у заводи.

И, возвращаясь с удачной охоты, измученный, счастливый — две связки уток висели у меня за плечами, — я, забираясь с гати в кусты, крикнул:

— Эй, Мальчик, сюда, за мной!

С половины темной дороги я вернулся: нет собачонки.

Мальчик сидел среди гати на грязи и визжал, точно его побили. Я подошел, погладил его; он лизнул мне руку, ласкался, бегал с поджатым хвостом, но не переставал скулить.

— За мной! За мной! — твердил я, таща его за шиворот.

Вся шерсть его стала дыбом: он рычал, огрызался, ляскал зубами, смиренный, покорный Мальчик.

— Не слушаться? Я тебя, дрянь!

Уцепив ремнем за шею, я приволок его сквозь кусты на лужайку к ручью и тут отпустил. Он прижался к моим ногам. Я потрепал его по голове.

— Ну, ну, — повторял я, — ну, дурачок. Не бойся, ничего тут нет.

Но он дрожал.

В кустах тянулись, вились облачками полупрозрачные белые клочья, все молчало. Быстрые крылья часто свистели в вышине, но утиные стаи неслись, даже не снижаясь, над пустынным уголком. Откуда-то все утки знали, что тут вода слишком чиста и холодна.

Я напился из ключа, отдохнул, взвалил на плечи свою добычу и, свистнув Мальчику, выбрался сквозь черную чащу кустов на гать.

Тени вечера ползли по земле; туман клубился над болотом; растрепанными красными перьями висели редкие облака; дымно догорал край неба. Я шел по гати и вдруг заметил, что Мальчика нет. Тоскливый вой допелся откуда-то из темно-серой мглы. Я не остановился. Всякая скотинка сама домой бежит, и собака должна найти дорогу.

Бедняга Мальчик, он не вернулся, и больше никто его не видал.

— Скормил собаку волкам! — дразнил меня Степка. — Охотник тоже. Тетеря, тетеря!

— Помалкивай! — огрызнулся я. — Собака, может, сама пропала, а вот жеребенка кусуновского средь бела дня кто прозевал? Все видели. Подпаска-то, говорят, драли.

VII

Я прилег на берегу озера и задремал. Сладко спится под плеск воды: струя, набегая, не то шелестит, как трава, не то шепчет. Я ничего не видал во сне, но вдруг проснулся в испуге, будто толкнул кто.

В пяти шагах от меня стоял волк и, слегка наклонив голову, спокойнo смотрел мне в лицо.

Я шевельнул пальцами, желая протянуть руку за ружьем, и в тот же миг волк исчез. Куда? Кусты шагов за тридцать, не мог же он перемахнуть туда одним скачком.

Уж не приснились ли мне эти чуть дрогнувшие остро стоящие уши, почти белый подгрудок, неизъяснимо странные искры, этот жуткий, острый, дикий взгляд светло-желтых глаз?

Был тут волк или не был?

Вот отпечаток четырех лап, в страшном прыжке взбудораживших песок. Нет, это не собачий след: тут когти сжаты узко, тесно, они впились глубоко; тут почти не видно круглой мякоти пальцев, как у собаки.

Это волк, волк приходил. Они есть, они живут тут, волки, и я дождусь, я подстерегу их во что бы то ни стало.

VIII

Степка стал моим врагом.

— Эй, охотник! — кричал он при всякой встрече. — К волкам собак водит! Ха, ха, целое лето караулил, ни одного не видал!

— Видел, видел!

И я пытался рассказать про волка.

— Ну да, как же, — горланил Степка, — станет волк на тебя, на сонную тетерю, глядеть! Он бы тебя за пузо сгреб. Все врешь!

Стадо перестали выгонять, пойма пожелтела. Я все-таки ежедневно пробирался по пустынной гати к своему кусту у озера. Края его замерзли. Но, как я ни смотрел, как ни слушал, — волков не было. По сугробам туда не пролезть...

Весной, едва стало слышно, что через коровий гон можно кое-как пробраться, я зашагал к гати.

— Это куда, стрелок? — спросил деревенский охотник. — За селезнями, что ли?

— На волков.

— Ну и дурак!

Я продолжал идти, не очень довольный. Охотник догнал меня, смеясь.

— Слушай, малый! Глупишь ведь, давно глупишь. Не выйдет к тебе волк никогда.

— А вот вышел.

— Пустое! Этак не называется выйти. Тебя волки видят, а ты их нет. Неужели непонятно?

— Так как же быть?

— Ты закрышку сделай, загсродку, шалаш, что ли, да пададь клади: собаку, кошку дохлую принеси, ворон настреляй. Сам не показывайся, ни-ни. Привыкнут, станут днем приманку жрать, тогда пали. А по-твоему, по-дурачки, хоть всю жизнь сиди, ничего не будет.

IX

Куст мой в тот же день превратился в шалаш; я забил его хворостом, но легко сказать: принести сюда дохлятину. Откуда? Ворон у озера также нет, они около деревни летают. Там их стрелять, — от Степки не скрыться: засмеет, прохода не даст, негодай.

Промыслив кое-как двух ворон, я бросил их перед шалашом. Ночью вороны исчезли бесследно. Я принес к шалашу крысу, завернутую в газету; утром осталась только газета, в следующую ночь унесли и ее. Ну, постой! Я крепко привязал трех ворон к толстому обручку и бросил так близко, что палкой можно было достать из шалаша. Всю свежую весеннюю ночь я продрожал, терпеливо поджидая. Сова размахивала лохматыми крыльями. Какие-то серые тени мелькали по лужайке в предрасветном сумраке. В болоте дико ухал филин, и эхо откликалось на странный звук. Кто-то как будто выл в кустах, лазил там в темной чаще. Или тут перед шалашом какая-то возня? В тягостном полусне, в темноте все смутно, непонятно. Но в свете утра ясно: нет ни ворон, ни даже обрубка.

Измученный, промокший, дрожа от холода, выполз я из кустов на гать.

Что за неистовый крик сверлит воздух? Поросятка режут? С живого жеребенка сдирают кожу? Какой-то пестрый, полосатый ком, подпрыгивая, катится, несется по грязи. Поросяенок? Да, да, поросенок! А рядом с ним, впевившись в его ухо, скачет крупный серый зверь.

И, позабыв, что у меня в руках ружье, я изо всех сил для чего-то заорал:

— Волк! Волк! О-го-го, волк!

Поросенок визжал, верещал, но прыгал, а зверь, даже не оглянувшись на меня, продолжал тащить его за ухо, и серый лохматый волчий хвост, загибаясь, хлестал по поросенку, как кнут. В кустах исчезло все: и поросенок, и страшный его погонщик.

— Держи, лови, бей! — вопил откуда-то выскочивший Степка.

Он остановился, задыхаясь, у прогалины в кустах.

— Здесь? Сюда угнала? Волчица! Трое суток, проклятая, около стада лазила, все-таки схватила. Ты чего смотрел? У тебя в ружье-то что?

— Картечь.

— Дура! Навоз там! Давай сюда ружье!

— А это видал?

Я в негодовании показал кукиш. Отдать оружие — да ни за что! Степка сорвал с головы шапку, швырнул ее мне под ноги в грязь.

— Пропади ты пропадом! — начал он. — Провались...

И вдруг заплакал, зарыдал.

— Опять меня пороть, значит! А я чем виноват? Я что ей палкой сделаю? Она заест там, у гнезда-то.

Поросенок визг перешел в какой-то писк, заглушенный клокочущим ворчаньем, и вдруг оборвался.

— Зарезала, — простонал Степка, — крышка! Выпорют!

— Нечего хныкать, — сказал я чуть не плача, — идем вместе. Ты покажи куда, а я запалю.

— А не врешь? Не промажешь? Ну ладно. Только чур: гляди в оба!

Х

Мы дружно вступили в грязно-тенистый ход среди ветвей.

— Зла она, — шептал, ползя, Степка, — осатанела вовсе от голода. На кобылу вчера среди бела дня бросалась.

— А где у нее гнездо, ты знаешь?

— Еще бы не знать. Прямо за ручьем, в яме. Сколько годов тут. Гляди, — она!

Среди лужайки, на совсем открытом месте, припав на передние лапы, что-то делала волчица. Голова ее была от нас закрыта поросенком, виднелись только часть спины и хвост, махавший скоро-скоро.

Стрелять? Так далеко? А вдруг пролетит мимо единственный заряд?

— Вот что, — хрипел Степка, — жрет она, нас не видит. Мы подбежим, я на нее чукну, а ты пали. Ну, раз, два, три!

Мы выскочили из кустов и понеслись по лугу. Но вместо того, чтобы кинуться от нас наутек, волчица, подняв окровавленную морду, завывала жалобно и протяжно. Она видела ружье, но не имела сил отцепить лапы от своей добычи. Четыре рыже-серых пушистых комка копошились у задних ног волчицы. Щенята, скуля, трепали ее иссохшие от голода

сосцы, пока она спешила нахвататься пищи, закопавшись носом в растерзанное брюхо поросенка.

— Стыдно... матку... охотнику бить, — пробормотал я, задыхаясь от жалости. — Бери ружье, Степка, стреляй.

— Ишь ты, — вздыхал он, — махонькие, голодные все. Навстречу выбежали. Тоже заботится матка-то.

И он побежал обратно к стене кустов, а я за ним.

На гати он поднял и надел свою грязную промокшую шапку.

— Про все про это никому не рассказывай, — сурово обратился он ко мне, — а то бить меня будут.

— Так ведь все равно поросенок пропал.

— За него выпорют, без этого нельзя, обыкновенно. А коли узнают, что мы его волчице бросили, тогда бить. Это — другое дело.

— Вот что, — сказал я, не зная, как утешить недавнего врага, — убью я, Степан, большого волка и тебе его подарю, а ты продашь шкуру.

Степка взялся за бока и даже присел от смеха.

— Ну, ну, — пропыхтел он наконец, — ну, спасибо. Ладно, коли так. Прощай!

XI

Степка рассказал мне, что на дьячковом огороде валяется дохлая кошка. Я стащил ее к своему шалашу, а волки съели. Я их не видал, но часто слышал возню, грызню, визг и вой в глуши отдаленных кустов за ручьем. Звери обнаглели, привыкли к шалашу: я торчал в нем дни и ночи, в холод и в дождь.

Встретив меня под деревней, Степка таинственно подмигнул.

— У бабки Анисьи, у солдатики, телка вот-вот околеет. Четвертый день в стадо не гоняет.

— Ну?

— За грош уступит. Подходящее дело. Пуда на три будет с лишком.

— Не стащить. Далеко.

— Передок достану, свезем.

Белая телка, толсто раздувшаяся перед смертью, привязанная к оси на двух колесах, приехала в вечернем сумраке к кустам у гати. Вдвоем мы волокли ее до ночи через кусты. Степка ушел, я остался.

XII

Волчья стая явилась немедленно вместе с темнотой. Белая туша еле виднелась смутным пятном, а черные тени кругом нее метались, скакали, выли, дрались, грызли, чавкали.

Как стрелять ночью в тень?

Я ждал света: всего не сожрут, придут днем. Всю ночь около меня возились и грызли звери. Под звуки жрания и драки я долго дрожал

от холода, страха, нетерпения и все-таки, кажется, дремал. Все стихло в тумане, в сырости, в темноте.

Едва вылез, сверкнув, из-за озера край солнца, я посмотрел сквозь ветви шалаша. Там, где с вечной своей песней падал и пенился ключ, три волка, припав на передние лапы, почти лежа рядом, лакали воду. Они мне были видны все до шерстинки, их оскаленные зубы, их жадно шлепавшие розовые языки. Два волка поменьше, один большой седой совсем близко. Я прицелился ему в ухо и выстрелил. Два подпрыгнули, рывкнули с визгом и, пока рассеивалось облачко дыма, куда-то исчезли. Огромный старый волк, поникнув разбитой головой на лапы, как будто к чему-то прислушивался торчащим другим, неповрежденным ухом. Он был убит наповал.



ЛИСИЙ ВЫВОДОК

— Кузька, я лисицу с детьми видел. Вот чудно-то, — шепнул Федька брату, — на горушке у речки. Там нора. Четыре лисенка. Никому не сказывай, пойдем ловить.

— А не укусит?

— Еще что! К лисе не подойти, она убежит. Перед норой ползти надо, бревном лежать, не шевелиться.

— Ты так и лежал?

— Нет, я просто шел, а лиса играет с лисятами, как наша Жучка со щенятами. Я бултых на землю, да и уполз. А как свистнул, лисица шмыг, и нет ее. Смотрю, лисята в нору лезут под ольху. Пойдем, поймаем!

— На веревку?

— В мешок. В прошлом году меня дядя Трофим с собой брал, всему научил. Шестерых лисят выкопали, только те маленькие были, не смотрели еще.

— Да ну, слепые?

— Вовсе ничего не видят. С мышь каждый, только хвостики пушистые. И скулят таково тоненько. Дядя тогда пошел верши на щук ста-

вить и меня с собой взял. Вдруг около промоины в березняке лиса. И в нору шмыг. Дядя меня за шиворот хватя, ткнул носом в землю, сам лег и мне кулаком грозит: нишкни, мол. Притаились. Лисица-то высунула морду, повертела, повертела носом и опять спряталась. Потом вылезла и стоит. Дядя свистнул, она как стрекнет в кусты и опять стоит. «У нее лисята тут, — говорит дядя. — Махай домой, топор принеси, заступ да мешок. Во весь дух слетай. А я тут сторожить буду». Побежал. Топор и лопату принес, а мешок позабыл. Уж он меня ругал, ругал, дядя-то. Снял с себя рубашку, поклат туда лисят и принес всех. Ты видал, у него на цепях сидели?

— Видал. Федя, а на что нам лисята? Они злые, играть с ними нельзя.

— Какие тут игрушки! Шубка-то какая у Трофимовой Лизы из тех лисят вышла. Вот и мы поймаем лисят и на цепь посадим. Потом шубу сделаем.

— Ты все врешь, Федька. Как же он слепых лисят на цепь посадил?

— Экой ты какой! Он сначала их молоком кормил из соски, а как подросли, тогда каждого на цепочку к столбику. Рыбой кормил, морковью. Я сам видал.

— Ну ладно, пойдем!

Вооруженные всеми нужными снарядами, подползли звероловы к замеченной норе и застали лисицу спящей со всей семьей на припеке весеннего солнца.

— Крой к норе, Кузька! — закричал, свистнув, Федька.

Лисица убежала.

— Затыкай чем попало дырку! Все там наши будут!

Сказано — сделано. Прочно забита нора обломками ветвей и песком.

— Тут, тут! — твердил опытный зверолов. — Слышишь, как возятся да пищат? Копай!

Плохо помогает даже топор. Федька рубит изо всех сил. Корни, как железные канаты, протянулись черные, узловатые. Тяжелая работа. Взмолкли землекопы.

— Федька, лиса! — крикнул Кузя, заметив, как внизу в кустах мелькнул рыжий хвост.

— Фью-ю! — отозвался Федька. — Бегай там, сколько хочешь. Сейчас в мешке будут твои лисята.

Вдруг смолкла подземная возня, не слышать стало визга. Прыгает по узловатым корням топор, но все-таки рубит. Ковыряет плохо заступ, но проникает в землю. Открылся длинный узкий ход, точно кривая труба, в глубь холма.

— Да куда ж они девались? — с недоумением твердил Федька.

Он лег на землю и приложил ухо к разрытой норе.

— Никого, — сказал он, вставая, — увела их matka-то. Ишь, хитрая. Значит, у норы снизу выход был. В следующий раз умней будем. Поймаем.



ЗАСАДА НА ВОЛЧИЦУ

Старого лесничего, моего учителя по охоте, я застал за необыкновенным занятием: он чистил, продувал и смазывал длинное ружье, всегда висевшее в пыли над дверью.

— Это старбус, — объяснил Степан Алексеевич. — Нынешние ружья так бить не могут, как этот швед бьет. Больше раза все равно выстрелить не придется, а ударить нужно здорово. Значит, нечего и толковать, давай сюда старика!

— Что же за охота такая? С одним выстрелом?

— Волчицу подсаживать иду. Из Шепелева мужики приходили просить. Замучили их волки.

— Одна волчица?

— Да нет же. У нее в прошлом году было гнездо недалеко от Шепелева. Нынче опять в нем выводок. Считаю: стариков двое да в выводке не меньше четырех волчат, а от молодых волчиц опять выводки.

— Много выйдет. Какой же толк одну волчицу убить?

— Волчицу убил — гнезда нет. Я взялся уничтожить три волчьих логова.

— Вы их знаете?

— Гнезда-то? Все осмотрел.

— И волки вас не тронули?

— Они человека не трогают. А меня-то и не видали. Я издал с дерева в бинокль все видел.

— И волчат?

— Всех четырех. Порядочные щенята. Славные шкурки выйдут.

— Какие шкурки?! Вы волчат тоже стрелять будете?

— Нет, зачем же. Волчат в мешок, когда с мамашей справлюсь.

Потом с ними другой разговор.

— Старый волк за своих не заступится?

— Он трус, убежит — его с собаками не сыщешь.

— Днем пойдете?

— Нет, хлопотливо, народу нужно много, да и старуха хитрая: зачует суматоху — уведет щенят. Лови ее потом. А ночью она сама ко мне придет.

— А мне с вами можно?

— Тебе?! Ах ты плут, тараканишка бесхвостый, ха-ха-ха!

Старик долго хохотал так, что слезы стал вытирать. Но вдруг серьезно спросил:

— А почему нет? Сумеешь держать себя как деревянный?

— Как?

— Когда скажу: «молчать!», то чтобы ни пикнуть, ни моргнуть. Камнем, пнем торчать. Понял?

— Это я могу.

— Тогда завтра часам к семи вечера приходи сюда. Дома отпросись на всю ночь. Скажи, что на тетеревиный ток пойдем, чтобы напрасно не беспокоились.

— А куда?

— За Клязьму верхом поедем.

Вот великолепия! Значит, поскачем такими всадниками с ружьями за плечами.

Но в назначенный срок я сильно повесил нос. Вместо оседланных коней у крыльца Степана Алексеевича, смирно опустив головы, стояли две лохматые деревенские клячи, покрытые рогожами.

А дальше хуже. Степан Алексеевич лежал в постели, стонал и чуть не плакал.

— Вон как скрутило. Куда там ехать, ногой двинуть не могу. Это на неделю, я уж знаю. Поздно будет: уйдет она.

— Волчица? Тогда к другой поедем?

— Тут все готово. Василий лаз выучил.

— Лаз?

— Ну да. Тропку, где волки ходят. Придется это дело бросить. Это-кое горе!

— Степан Алексеевич, отпустите в засаду меня. Василий покажет.

Старик застонал, скрючился. Нельзя понять, смеется он или плачет. Он бормотал что-то про поросенка и опять упомянул насчет тараканишки без хвоста.

Вдруг он сел.

— Прохлопнешь старбуса? — пропыхтел он. — Тогда пушу.

— Конечно, прохлопну. Важное дело!

Я живо зажег свечку, поставил ее на стол, надел пистон на капсюль длинного ружья, прицелился в маленькое пламя и спустил курок. Свечку задуло.

— Молодчина! — закричал старик. — Стрелять можешь. Ну что ж. Запалишь как свечку. А старбус не выдаст. Если ты это дело сделаешь, я тебе, сынок, старбуса оставлю, когда помру. В завещании напишу. Теперь слушай, мой мальчик. Всю ночь придется в болоте пеньком сидеть. Ни кашлянуть, ни чихнуть, ни ногой переступить, чтобы суточка не сло-

мать. Тихо-тихо сиди. Они выть примутся — не пугайся. Потом они мимо тебя пойдут, Василий знает, куда тебя свалить.

— Как свалить?

— Прямо с лошади. В этом вся штука. Чтобы человеческого следа около ихней тропки не было. А то унюхают — и не пойдут. Василий уедет с лошадьми. А ты смотри. Если будет еще светло, то первого пропусти, второго бей.

— Разве их двое?

— Когда от логовища идут, то первый — волк, за ним — волчица. Её то нам и нужно. Быть может, в темноте пойдут, тогда не стреляй. Подожди, — на зорьке назад вернутся. Тут наоборот: первого бей, это она и есть. Запомнил, не спутаешь?

Я повторил порядок волчьего хода.

— Правильно, — одобрил старик. — В голову не целясь: промахнуться просто, — в бок, в лопатку пали. Только помни, что у тебя один выстрел; промазать — позор на всю жизнь. Старбус свое дело сделает. Давай его сюда. Зарядим. Становись на стул. Возьми мерку. Пустой попробуй, как насыпать будешь. Теперь порох сыпь. Вот из этой жестянки. Так. Пыж гони. Правильно. Картечь — видишь? Все двенадцать должны лечь ровно, не болтаться и не теснить друг дружку.

— Как же я это узнаю? Не заглянуть в ствол.

— Шомпол скажет. Держи! Этому шомполу цены нет. Он из черного дерева первейшим мастером выточен сто лет назад. Сыпь!

Я отправил дюжину свинцовых шариков в темную глубину диковинного ружья. Старик его от меня взял, встряхнул, постучал прикладом о пол и снова скомандовал:

— Полезай опять на стул! Запускай шомпол! Шулай. Ну, что?

— По-моему, ничего. Не шевелятся картечины, там все неподвижно.

— Хи-хи. Иначе не должно быть. Я вчера их на пыже примерил. Вот. Он показал белый в черных точках картонный кружок.

— Этим пыжом прикрой, надень пистон. Готово? В шкаф в углу чехол лежит. Не нашел? Да нет, не на все ружье. Маленький чехольчик только на курок с собачкой. Ну вот, давай сюда, надевай! Теперь все в порядке. Не подкачает старбус. Смотри, не ляпни мимо, ты, стрелок!

Василий, вернувшийся из города с покупками, поохал над болезнью старика, но не очень удивился, что тот вместо себя посылает мальчугана: никакой мудрости нет в волка выстрелить. Пустое дело.

Старбуса лесничий, к сожалению, мне не отдал, а привесил на ремне за спину Василию и показал, как держать.

Поехали. Ничего, не плохо даже на клячонке, на рогожке вместо седла. На мосту через реку меня видели знакомые рыболовы: верхом еду, а впереди бородатый дядя с длинным ружьем. Значит, на охоту, хо-хо!

Красные полосы повисли на краю неба, когда мы въехали в лес. Зе-

ленные вершины деревьев виднелись ясно, но между кустами ползли тени, растрепанно тянулись, точно обрывки белой паутины.

Василий задержал своего коня. Я на него почти наехал.

— Близо, — сказал он тихонько. — Как сниму шапку, так, значит, тут оно и есть. Тогда уже молчок, говорить нисколько нельзя. Ельнику я там накидал, на него прыгнешь и ружье от меня возьмешь. Ладно?

Вверху свистели утиные крылья. Где-то совсем близко чufыкал тетерев. Зачмокали копыта наших лошадей, по болоту стали ступать.

Зеленые стены с обеих сторон приблизились к тесному сырому пути.

Что за шорох, кто там шевелится в темной чаще? Или мне только кажется, что там какая-то возня?

Однако важнее всего на свете шапка Василия.

Вот он ее снял, остановил лошадь.

Тут? Верно.

Вот еловые лапы навалены кучей. Я спрыгнул на них и протянул руки за ружьем. Но Василий, забрав поводья моей лошади, едет дальше, возвращается, показывает на землю под ноги лошади.

Что такое? А, понимаю. Это тут пойдут волки, тут волчья тропа, где чуткие звери спокойно нюхают следы копыт, но не переносят поступи человека.

Василий подъехал, передал мне ружье и молча подмигнул мне на лаз: понял ли? Я также кивнул: понял. Он уехал.

У-у, какая жуткая ночь подступает со всех сторон!

Серой стала небесная вышина. Туман густыми клубами, точно дым, вылезает из каждого куста. Это оттуда, из этих колеблющихся белых волн набегает такой противный холодок? Брр... Как сыро стало! Кто это так урчит? А, лягушки. Догадался, но никогда не слышал их в таком множестве; как-то угрожающе звучит в наступающей темноте многоголосый крик.

Таинственно, гулко посвистывает, летая кругом, большая темная птица. Понимаю — сова. Кого она тут ловит?

«Бу, бу! Бу-бух!» — стонет кто-то глухим басом в глубине леса.

Ну, там болото, топь. Там всякие гадости могут быть.

А не закричать ли мне во все горло да не убежать ли по дороге, куда уехал Василий?

Вдруг оттуда как-то сверху, заглушенный далью, но ясно донесся до меня крик петуха. Ему ответил другой, потом несколько разом.

Ах, чудесная песня, прекрасные кукареку, милые, милые петухи!

Значит, там, на горé, деревня. Там живут люди. Их замучили волки. Зачем я сюда пришел?

Стыдно охотнику бояться пустыков. Лучше займемся, как поудобнее приладить длинный ствол старбуса в направлении на волчий лаз. Прицеливайся, стрелок! Раз, два...

Тут, совершенно не заметив, как это случилось, я крепко уснул и проснулся от странного звука.

Наперебой двое сильно трубят в медные рожки: «Ту-ру, ту, ту! Ту-та, та, та!»

А, знаю. Горнисты зорю бьют. Сколько раз слышал я этот бодрый сигнал у солдат среди белых их палаток. К нему еще приговорка смешная:

Выходила поутру
За холстами баба...

Да разве здесь лагерь?

Лес кругом стоит. Я в болоте лежу на мокрых еловых ветках. Бекас дребезжит где-то в вышине. Вдруг огненные стрелы потоками брызнули в небо из-за зеленых вершин.

Это утро! Это солнце, это журавли играют зорю!

Прошла ночь, прокатились мимо меня волки. Ничего я не видал, все проспал, несчастный. Какой стыд! С таким ружьем разиню изобрал.

А не пойдут ли волки домой? На утренней заре тоже можно стрелять, говорил учитель. Я взглянул на лаз. Там, где вчера усердно топтались клячи, неторопливо мелькали одна за другой две длинные серые тени.

Волки!

«От гнезда ночью первым идет волк. Теперь наоборот — волчицу бей!» — неслось у меня в голове.

Я прицелился в переднее пятно и потянул спуск.

Грянул выстрел, громом ахнуло эхо где-то близко и покатилося вдаль, точно стукаясь о деревья.

Дрожал я на своей подстилке: и холодно, и страшно.

Облако дыма упорно висело передо мной, по земле полз туман.

Что произошло там, на волчьей тропе? Попал я или промазал? А не кинутся на меня со злости волки? Другого выстрела нет. Что делать?

— Гоп-гоп! — шлепая по болоту, закричал, подбегая Василий. — Ай да стрелок! Как есть наповал влепил. Вон валяется. Всей деревней благодарить будем.

Я бросился к волчьей тропе. Там, в рытвине болота, оскалив окровавленную пасть с желтыми зубами, запрокинулся на спину большущий серый зверь.

— Старуха, — весело болтал Василий, — а тяжелая. Таскай на себе такую погань.

Он, взяв за задние лапы, прилаживал зверя к себе на спину.

Во мне все прыгало и трепетало. Но я уже важничал и старался говорить спокойно:

— Лошадь привел бы!

— Наша лошадь на себя такую стерву нипочем не возьмет. Дотащу, ничего. Дедушка-то вот будет рад, а?



СТРАШНАЯ ПТИЦА

— К глухарю в лучшем виде могу свести, — хвастался Федька Лапин.

— А ты не врешь?

— Зачем? Очень хорошо знаю, где по утрам сидит.

— Тогда идем. Куда?

— В Ямский бор. Не позже полуночи выйдем. Часа два ходу. На месте на самой зорьке надо быть. Хитрый. Чуть засветлеет, он — фырк! Только его и видели.

Федька — сын извозчика. Мне запрещено с ним водиться. Но он мне нравится больше всех прочих мальчишек.

Федька умеет сидеть на дереве, держась за сук только одной ногой. Я пробовал — ничего не выходит, сваливаюсь. Он может шагов десять идти на руках совершенно так же, как на ногах. У меня при попытке этак перекинуться вниз головой в глазах искры мелькают. Уткой, чайкой Федька умеет так кричать, что от настоящих не отличить.

Во всем сильнее меня Федька, да еще на год старше.

Федькин дом в Ямской слободе, и по дороге в бор мне следовало бы зайти за Федькой. Но у Федьки ружья нет, а у меня есть. Поэтому я главное лицо, а Федька подчиненное.

В постель-то я улежся, но не сплю. Я вижу, как в темном небе несутся, исчезая, падучие звезды.

Черная тень виснет на решетке палисадника. А, это Федька. Он подходит к окну моей комнаты, бросает песком в стекло. Бесшумно открывается рама.

Я прыгаю в садик. Мы переползаем через забор, шагаем по пустынным улицам.

Все таинственно и чудно. Никто ничего не видал, не слышал.

— Федя, это у тебя брякает?

— У меня. В чайнике сахар и спички болтаются. Сейчас.

Мы останавливаемся. Он что-то сует в жестяной чайник и снова пришеивает его к поясу, уже беззвучным.

— Родник там рядом, — объясняет он. — Как убьем глухаря, чай пить будем. Поесть захватил?

— Взял. А ты место знаешь? Найдешь глухаря?

— Никакой мудрости нет. Сколько раз видал. Он на ягодник вылетает — бруснику клевать.

— Один?

— А с кем же? Выводков теперь нет, давно разлетелись. Брусника, говорю, поспела. Уже совсем красная.

— Он какой?

— Разве ты не видал?

— Нет. К нам глухарей не носят. У нас их не едят. Тетерева знаю.

— Глухарь вроде тетерева, только много больше.

— С гуся?

— Пожалуй, с гуся. Только черный. Ну и хитрый.

Старый лес дышит еще летней свежестью. Не пахнет яблоками от палого листа. Но уже темна ночь, холодна обильная роса. Куста задеть нельзя. Брызжется препротивно.

Огромные, столетние ели ведут себя подло. Ее никто и не трогает, а она с мохнатых своих лап проливным дождем неожиданно сбрасывает крупные холодные капли. Гадость такая.

Даже шапка промокать начала. Сыро и холодно стало.

— Скоро, скоро, — сердито отвечает Федька на мои вопросы, — еще одну еланьку пройдем, а потом вырубка. Тут оно и есть. Брусники там, говорю, страсть сколько.

Пропали звезды. Серые клочья дымно ползут в небе. Громадное белое облако висит, точно гора ваты. Один край у него быстро розовеет.

Что за еланька? По-моему, мы прошли пяток довольно открытых полей. Не вполне понятно, что обозначает таким словом Федька.

А вдруг врет? Просто нахвастал, — никакого глухаря тут нет?

Ну, это уж, как угодно, вырубка. Пни торчат белые, серые пни, черные, окруженные мелкой зеленью. Верно, брусники тут...

Фррр! Пуф, пуф, пуф! Взрыв, треск. Что такое? С грохотом взлетел на воздух растрепанный черный пенёк. Я закричал, в ужасе бросился назад и только слышал, что за мной с визгом несется Федька.

— Это что же такое вылетело? — задыхаясь, спросил я, когда мы примчались на поляну.

— Глухарь, — пропыхтел Федька. — Ты чего не стрелял? Да ружье-то у тебя где?

Увы! Позор налицо. Нет ружья. Бросил в безумном беге, не помню когда, где и как.

— Ха-ха! Стрелок!

— А ты почему ничего не сказал?

— Охотник тоже, струсил, со страху ружье уронил!

— А кто вел? Твое дело сказать — где.

— Стой! — заорал вдруг Федька. — Чайника нет! Развязался ремень.

Мы вернулись по росистому нашему следу, легко и скоро нашли свои потери. Но настроение не поправилось.

— Ты не испугался, — язвил я. — На-ка, даже не заметил, как пояс свалился. Спасибо, что штаны не потерял. Разведчик!

— Да я думал — он подальше, а он тут.

— Хвастал-хвастал. Я, говорит, его знаю, где сидит, сколько раз видал — и всё. Эх ты!

— Тот, должно быть, другой. А этот уж очень страшный.
Мы даже чай не стали пить у родника, вернулись домой повесив носы.



СОВЫ

Там, где сучья засохшей вершины криво торчали из свежей зелени листьев, кто-то глухо закричал:

— У-ху-ху! У-у!

Раздался протяжный свист, выглянула, сверкая глазами, кошачья морда, и огромная черная птица, размахивая лохматыми крыльями, слетела с верхних ветвей. Наверху еще светло, но птица ринулась вниз и пропала в темноте. Мы выскочили из засады и бросились бежать: я и Федька Лапин. У нас в дупле старой липы был охотничий дом. Там кто-то давно раскладывал костер; так просторно внутри изуродованного дерева. Мы огня не жгли, вход завесили рогожей и часто сидели там. Никто нас не видит, не слышит. И все наши удочки, сетки, корзинки, жестянки — все спрятано так, что никто не знает.

— Это сова! — задыхаясь, сказал я, когда мы, пробежав изо всех сил через овраг, остановились на мосту. — Это ничего; я знаю, совы так свистят.

— Ни капельки не страшно, — подтвердил, переводя дух, Федька. — У них, значит, гнездо в верхнем дупле. Завтра около полдён надо слазить, посмотрим.

Огромная птица в свете дня оказалась серой, но рожа у нее все-таки, как у кошки. Она сидела выпуча желтые светлые глаза и, должно быть, ничего ими не видела.

— Ну, ты! — кричал Федька. — Пошла вон!

Только когда Федькина палка со свистом замахала около самой совиной головы, шевельнулась серая грудa перьев, распахнулись лохматые крылья, и сова беззвучно, как тень, унеслась, снижаясь, натываясь на ветви и кусты.

— Это что же? — бормотал Федька, отползая обратно от дупла по стволу липы. — Вот чудно! Никогда таких не видывал.

Я продвинулся на его место и заглянул в совиный дом.

Дупло поменьше нашего, потемнее, — не в том дело, нет: на полу

его торчком толпились какие-то четверо в белом пуху, нисколько не похожие на птиц. Стоят на когтистых задних лапах, а передних у них нет. Даже клювов нет, какой-то мягкий рот, а в нем язык виден.

— Не птицы, — решил я, сползая вниз, — зверюшки какие-то. Сова, значит, в чужое дупло залезла.

По правде говоря, опять хотелось удрать. Но сияло солнце, благоуханно дышал лес. Какие тут страхи!

— Совята это, — сообразил Федька, уже стоя на земле, — и пустое дело их взять. Только кормить чем? Малы больно, околеют.

— Давай лучше смотреть, как они расти будут.

Так мы и сделали.

Мы дождались, что странные существа стали похожими на птиц. Белый пух у них сменился серыми перьями, выросли крылья, и под осень, в темноте ночи, в ответ на привычный окрик старой совы, вдруг засвистели четверо разными голосами. Значит, вылетели молодые совы.

* * *

— Сыча поймали! — крикнул мне, пробегая, Федька. — Дед из ружья сшиб, чуть крыло повредил, живой вовсе! Чудной!

— А где?

— За сторожкой на круглой еланьке. Скорей!

Филин неподвижно сидел на пне, сам, точно пень, длинный, толстый, и коричневые его перья, все в пятнах, в бороздках, напоминали кору старой сосны. Кругом по лужайке, в ближайших кустах, на деревьях, прыгали, летали, суеились с криком, с писком пташки.

— Триси, триси ушами! — дразнил филина Федька. — Не нравится, как ругают, а? Должно, есть за что.

Пучки перьев по обе стороны головы у филина дергались, вздрагивали. Птичья мелочь озлобленно стрекотала, высвистывала сотнями голосов. Красноголовые, пестрые, зеленые пичужки подпрыгивали к лохматому великану, пролетали над ним и все кричали, кричали.

— У его гнезда дед вчера заячью голову свежую нашел, — рассказывал Федька, — перья кучами лежат. Заяца-то ночью всего уплел, да и обожрался, лететь не мог. Этакая образина.

— Вот рожа, верно ведь? Ни у одной кошки такой нет. А носище-то!

— Да, брат, долбанет, так будешь знать. Не смей, Жук, не смей!

Но поздно. Четвероногий Федькин друг с лаем бросился на филина; тот затрепыхался, оборвал бечевку, которой был привязан, и побежал. Видели что-нибудь его желтые глазищи? Он не цеплялся, не спотыкался, удира! проворно перебирая мохнатыми лапами.

— Назад, Жук, — орал на бегу Федька, — не смей! Не тронь!

В тот миг, как зубы собаки коснулись филина, он опрокинулся навзничь, и Жук отскочил с визгом. По морде у него крупными каплями текла кровь, но он лаял, рычал, лез в драку с врагом.

А тот все лежал на спине, тихонько вздрагивая когтистыми лапами, готовя страшный клюв для нового удара.

— Сам виноват, — утешал Федька друга, прицепляя его за шейный ремень, — не суйся. Теперь нечего скулить. А ты, пучеглазый, далеко не уйдешь. Дай срок, мы тебя поймает.

Едва мы отошли на несколько шагов, филин встал и, по-прежнему нисколько не наклоняясь, все торчком побежал в лес. А кругом порхали, пищали, чирикали, свистели птичьи стаи.

* * *

Лес спал зимним сном. Среди осыпанных инеем ветвей чуть-чуть зашуршало, поднялось что-то серое, почти белое. Я выстрелил туда, и «что-то» повалилось в сугроб. Сова! Раскинув крылья шире, чем размах рук большого человека, она лежала мертвая, и только серые перья спины да черный клюв отличались от белизны снега, остальное было бело. Желтые круглые глаза смотрели ясно, точно живые.

— Полярная сова, — сказал чучельщик, к которому я отвез птицу, — редко к нам такие залетают.

Эта сова с распростертыми крыльями висит у меня в комнате, и стеклянные глаза, вставленные в ее голову, блестят, всегда желтые, прозрачные, ясные, точно тогда, после выстрела.

Изредка ко мне приходит высокий худой человек, Федор Николаевич. Он опирается на клюку, тяжело волочит простреленную на войне ногу. У него длинная седая борода. А все-таки я знаю: это Федька Лапин, тот самый мальчишка, что умел сидеть на дереве, зацепившись за сучок одной ногой. Старику очень нравится совиное чучело, он каждый раз, глядя на него, хоть подмигнет мне. Мы оба помним благоуханный сумрак вечернего леса, дупло у оврага и жуткий крик ночной птицы в вышине.



ПТЕНЦЫ

Что думает птица, усаживаясь на гнездо, все равно какая птица — журавль, курица, малиновка, страус?

У всех одна мысль: в гнезде — яйца, будущие дети; их надо сохра-

нить, спасти от всякой беды, защитить хотя бы ценой собственной жизни. Мысли такой ни одна птица, конечно, никому не высказывала, но все птицы кидаются драться, как бы ни казался велик и силен враг, приближившийся к гнезду; другие хитрят, стараясь отвлечь врага от гнезда, иные просто закрывают яйца собою, готовые погибнуть, защищая свое будущее поколение.

У гнезда, где имеются яйца, всегда стража: то два защитника, то один.

Иногда самец устраивает гнездо и принимает на себя все заботы о нем, самка же только несет яйца. Часто не отличить самца от самки: оба одинаково хлопочут над гнездом, оба высиживают поочередно. У других семейная работа разделена: самка сидит в гнезде, а самец носит ей есть и, чтобы не было скучно, поет ей песни. Кое у кого случается так, что ни гнездо, ни яйца не должны попадаться на глаза самцу: он яйца разобьет, а гнездо растреплет. У многих птиц отец равнодушен к гнезду, не замечает, покидает его, а мать это гнездо устраивает, хранит и самоотверженно защищает. Только у некоторых, преимущественно страусовых, все наоборот: самец и строит гнездо, и охраняет его, и высиживает яйца, равнодушно брошенные где попало самкой.

Гнездо тетерки



Глухарь и тетерев одеты разноцветно. Их скромные куры, — похожие одна на другую нарядом рыжепестрых перьев, удивительно скрывающим их в зеленой траве, — тетерка и глухарка устраивают свои гнезда на земле. У тетерки бывает до двенадцати яиц; они поменьше, чем яйца курицы, желтоваты, с бурыми пятнами на толстом конце. Глухарка кладет семь — восемь такого же цвета яиц, вдвое крупнее куриных.

Гнездо — ямка, устланная сухой травой и пухом из собственной груди; тетерка иногда садится на яйца на опушке, глухарка не иначе, как в глухом лесу.

Ну, этим наседкам никто не принесет под нос корма и питья. Они пьют росу, свежие капли с окружающих трав и листьев; они в полдень, сбегав недалеко, хватают торопливо, что удастся поклевать, и спешат возвратиться к гнездам, тщательно прикрытым травой.

Спят ли они или неусыпно сторожат день и ночь сокровище, нарождающееся незримо, неслышно, неощутимо? Глаза их наливаются кровью, и всегда смирные куры принимают во время высиживания бешеный вид. Лисица и волк, в другое время направляющиеся с ними за просто, не ищут их на гнездах. Хищники знают, что отчаянно ударят крылья по их мордам, куриный клюв норовит клюнуть в глаз, тупые когти рвут и царапают.

Если три недели миновали благополучно и никакой враг гнезда не потревожил, лесной пожар его не спалил, то весело прыгают около матери бойкие цыплята. Тетерева одеты густым темно-желтым пухом, глухарята — бурым; на головах и по спинам у них черные полоски, а в ничтожных крыльях уже видны перья. Когда тетерка ведет детей к муравейнику, они шныряют, как мыши. Надуваясь и клохча, тетерка разгребает лапами сор муравейника, достает оттуда белые муравьиные яйца, стучит по ним клювом, дробит на мелкие куски, сама не ест. Маленькие клювики клюют этот нежный, питательный и влажный корм.

На двухнедельном глухаренке уже больше перьев, чем пуха. Он при малейшей тревоге взлетает на сосну и, вытянув шею, так прижимается к ветке, так таится, что даже средь бела дня не всякий глаз его рассмотрит.

Подросший выводок «старка» водит на ягодник в тот час, когда солнце только выглядывает из-за края земли. Птенцы жадно клюют землянику, обрызганную ночной росой, срывают нежные побеги зацветающих трав.

Когда поспеют черника и голубика, растущие на кустиках повыше тетеревенка, он пропускает тонкий зеленый стебель между лап и идет. Кустик, конечно, наклоняется, и черные или сизые ягоды оказываются у клюва.

Вкусны также свежие желуди дубов, мелкие черные, остро пахнущие ягоды можжевельника. Заботливая «старка» везде проведет неопытную молодежь, покажет, где, что и как нужно есть.

При тревожном крике матери тетеревята врассыпную кидаются в траву, глухарята вспархивают на деревья.

Сороки, вороны норовят утащить зазевавшегося цыпленка. Лисица, волк чутьем ищут по росистой траве, где бродил выводок, и пытаются, незаметно подобравшись, схватить лакомую добычу.

Опытная «старка» все эти опасности знает. Едва жар солнца начнет подсушивать прозрачные капли на траве и кустах, раздается призывное клохтанье «старки», и весь выводок грудно летит в трущобу, в глушь, где к нему, не зашумев, никому не подобраться.

Цыплята все лето похожи оперением на мать: такие же рыже-серопестрые. Кто из них петушок, кто курочка, отличить нельзя. Когда начнут вяннуть травы, зазолотится кое-где лист на липах и ночи станут темнеть, на спинах, на зобах у некоторых цыплят среди рыже-бурых вырастают черные перья. Вот они, петухи! Одноцветные останутся в скромном наряде — это тетерки. У тетеревят-петухов, чернеющих с каждым днем; хвосты к осени развесятся белоснежными снизу косицами; их, черных тетеревей, зовут косачами или чернышами. Шея молодого петуха-глухаря становится темно-зеленой, блестящей, точно медь, лапы покрываются мохнатыми перьями, хвост распушается, как у индюка. Нет, это уже не цыплята, это взрослые тетерева, глухари.

Рябчик, куропатка, перепел



Маленькие лесные куры, рябчики живут только в больших лесах, даже на полянки, не только в поле, никогда не вылетают. Гнездо рябчик устраивает под кустом: на земле ямка, устланная листьями, травой, мелкими веточками. Самка, положив до пятнадцати пятнисто-бурых яиц, сидит на них, кажется, одна, хотя самец всегда вертится зачем-то около гнезда и потом около выводка.

Рябчата покрыты густым желтым пухом — сверху пестрым, с буросерыми пятнами, снизу одноцветными, посветлее. Они бегают бойко, едва выклюнувшись из яиц, и «старка», рябуха с белым пятном на горле, ведет пискливую, суетливую стайку на берег речки, ручья, проточной канавы. Зачем? Воды рябчики, кажется, не пьют, но... любят слушать ее журчанье.

Мать учит цыплят клевать ягоды, побеги и семена трав, нежные иглы молодой хвои. Шумно, с треском вспархивает выводок рябков; они не поднимаются к вершинам деревьев, не летят далеко, а врассыпную бросаются прятаться по средним сучьям, прижимаясь к ним плотно-плотно.

Серая куропатка устраивает свое гнездо в поле среди густой травы; иногда в озими — ямка, опущенная перышками из собственной грудки. Яиц в этой ямке бывает до восемнадцати, так что удивительно, как небольшая птица может их покрыть. Они светло-оливкового цвета, почти без пятен и при выходе птенца на свет не лопаются на куски, а распадаются вдоль на две половинки: цыпленок куропатки не проклеивается, а выскакивает из развалившегося, точно разрезанного пополам, яйца. Он в красновато-буром пуху, крошечный, с круглым задком и уже с перышками в крыльях.

Что делает самец куропатки около гнезда? Никто не видал, чтобы он высиживал или кормил своих детей, но он их скликает на заре особенным, тонким свистом, когда бойкие цыплята разбредутся среди стеблей. Весь выводок шумной стайкой летит на место дневной кормежки. Там они трепыхаются в пыли, бегают, копаются, разгребая лапками, совсем как домашние. Если поймать весь выводок, то заодно с молодыми легко приручаются и старики.

У перепелки, самой маленькой курочки, — серо-пуховые птенцы величиной с орех, не грецкий, а с обыкновенный каленый орех. Они бойки, скоро начинают порхать, но долго не клюют сами, а мать кормит их из клюва насекомыми, зернами, молодой травой.хлопот ей много, маленькой курочке: надо же насытить до пятнадцати голодных цыплят. Умеющие уже летать молодые перепелки любят бегать, перекликаясь, по полю, но в случае опасности отлеживаются упорно. Выводок перепелов рассыпается по полю кто куда, и каждый перепелиный дурачок в одиночку таится в чистой глади, воображая, что спрятался от страшной тени.

Длинноносые



Куличьих яиц в гнезде всегда четыре, у всех острый конец очень длинный, а тупой слишком короткий; этим резко отличаются куличьи яйца от всех остальных. В гнезде яйца лежат всегда крест-накрест, острыми концами друг к другу. Яйца куликов разного цвета — зеленоватые, голубые, желтые — все в пятнах; разница только в том, что пятна то покрупней, то помельче, то потемней, то побледней. Кажется, только на яйцах пигалицы пятна темно-зеленые, на остальных — рыжие.

Все кулики живут и выводятся в болотах, а один — вальдшнеп — в открытых местах появляется лишь ненадолго, иногда на несколько часов, живет же в лесу.

Гнездо вальдшнеп устраивает в лесной глуши, но по-куличьи; оно на земле, но всегда прикрыто сухими веточками; оно в ямке, устланной сухой травой и мелкими перьями; яйца по величине птицы крупны, они побольше голубиных, а вальдшнеп меньше голубя.

Потревоженная на гнезде самка вальдшнепа берет яйцо в лапы и улетает с ним. Так же уносит она и птенцов, пока они совсем маленькие. Перетаскивание это имеет очень трогательный вид. Свесив длинный нос, озабоченно размахивает крыльями коричневая птица, а в вытянутых лапах, также свесив длинный нос, смиренно сидит комок бурого пуха — птенец.

Впрочем, вальдшнепята скоро начинают бегать бойко, и подросших мать уводит из крупного леса, где темновато, в мелколесье. Там, таясь в густой траве под кустами, никогда не подавая громкого голоса, она их кормит мелкими насекомыми, потом нежнейшими корешками трав до полного оперения. Попытка выкормить вальдшнепята в клетке повторялась несколько раз, но не удавалась. Четырех длинноносых птенцов сажали в просторную загородку, с влажным земляным полом, с травой, с мягкой ямкой в углу. Птенцы бегали, копались носами в грязи; им щипчиками вкладывали в клювы мелких мух, корешки трав; они глотали. Казалось, все идет хорошо, но через два — три дня в углу клетки оказывался мертвый пуховой комочек. Более недели не выживал ни один.

У бекаса, дупеля, у многих крупных куликов, отличающихся длинными, иногда изогнутыми носами, в болотах выводятся птенцы.

Они, точно мыши, бойко шныряют между кочками. Носы у них коротки, прямы, лапы непомерно велики; если птенец не бежит, а идет тихонько или стоит, то шея у него всегда скрючена, весь он сжимается комочком, как будто ему холодно в самый жаркий июльский полдень.

Когда появляются перья в крыльях, носы у птенцов вытягиваются,

лапы становятся как будто меньше, вырастает хвост. Такие птенцы копаются в грязи, глубоко засовывая в мягкие кучки носы, — они уже умеют доставать пищу. А что они едят? Ни одного длинноносика в неволе выкормить никому не удалось.

Из всех куличат самые бойкие чибисята, черные, как уголь. Совсем еще пухлый чибисенок живо-живо удирает по лугу от собаки, и когда она его настигает, он, опрокинувшись на спину, перебирает оливковыми лапами (у взрослых чибисов они красные). Его можно взять на ладонь, он притворяется мертвым: взглянет и опять закроет глаза. Если его выпустить, он как ни в чем не бывало убежит в кочки своего болота. Так, размахивая короткими, странно свистящими крыльями, невысоко кувыркаются в воздухе старые чибисы-пигалицы с жалобным криком, похожим на слова:

— Чьи вы, чьи вы!

Если чибисов гнездится тут много, то все они слетятся к врагу и будут виться над ним все с тем же жалобно-пискливым криком, пока враг не уйдет. Тогда пигалица соберет свой чернопуховый выводок и... никуда его не уведет.

Смирные птицы останутся тут жить до осени, пока молодежь не вырастет. Весной пигалицы прилетят и вновь положат тут оливково-пестрые яйца.

А если чибисят, хотя бы полувзрослых, забрать в клетку, дать им землю, воду, траву и кочки из этого самого болота, все-таки они все переколеют. Известно, чего им не хватает.

Цапля



Трудно подобраться к цапле. Она как будто спит, стоя в воде на одной ноге и втянув всю шею в плечи. Но смотрит зорко ее сердитый желтый глаз. Весной мрачные серые птицы гоняются друг за другом, крича громкими хриплыми голосами.

Гнездо цапли почти всегда на высоком дереве, редко на большом кусте; это непрочная груда кое-как набросанных ветвей и травы. Яиц бывает до шести, они бледно-зеленые. Птенцов цапли легко принять за лисят — такие у них остро-хищные мордочки, клювы, похожие на рты, длинный пух, напоминающий волосы; только лисята светло-желтые, а птенцы цапли темно-бурые. В таком виде они остаются две — три недели, обрастают перьями и начинают лазить по ветвям родного дерева. Носы у них вытягиваются и заостряются скоро. Старые цапли, принося мелкую рыбу, лягушек, червей, бросают их сверху в гнездо, иногда кладут на его край, — молодые расправляются с добычей сами.

До осени, до отлета, молодежь выучивается ловить рыбу и стоять, втянув шею, на одной ноге, но косица из длинных рыжих перьев на голове вырастает только у трехлетней цапли.

Журавли



У журавлей, дружно живущих парами, редко бывает три яйца; почти всегда два — очень крупных, узко-длинных, глинисто-коричневых с пятнами, тяжелых: каждое весит до 500 граммов. Гнезда журавли не устраивают; яйца лежат прямо на грудке сухой травы, полусгнившей осоки, кое-как положенной на кочку.

Но эта кочка окружена такой лесной трущобой, глухим болотом, что добраться до нее нелегко, а найти ее очень трудно. Журавль сторожит зорко, слышит удивительно чутко и на всякого врага кидается драться; самка в бой не вступает и старается птенцов увести. Журавлята желто-пуховые, затылки у них не лысые. Темно-красная лысина выступает, когда серая птица уже летает на огромных крыльях и кричит, точно в медный рожок трубит. Пухового журавленка можно принести домой. Он ест червяков, мух, жуков, лягушек, разрезанных на куски, свежую траву, потом хлеб, кухонные остатки, все, что дают курам и уткам. Почему журавлю не есть корма домашней птицы? Он кто такой? Он «журка», он ходит по двору, бегает за детьми, выпрашивает подачки и только посматривает под облака, когда с вышины несется медно-трубный клич пролетающих диких птиц. Домашний журавль не летит за ними, хотя бы его сильные крылья и не были подрезаны.

Коростель



В летние дни, когда цветут травы болотистых лугов, оттуда, с лугов, вместе с благоухающим ветерком доносится странный резкий звук: как будто кто-то, дергая, разрывает тугую ткань. Это кричит коростель, маленькая светло-рыжая птица куриного склада. Его зовут также дергачом, и странный крик его повторяется тем настойчивее, чем жарче день. Когда он спит, этот дергач? Он молчит разве утром, час — два после зари, а то все кричит; особенно коростель старается, орет в душные темные ночи.

У него, у рыжего, крошечные дети черны, как уголь. Их всегда

много: десятков, а то и больше. Выводятся они из рыжеватых яиц, испещренных рыжими пятнами; и черные пуховички убегают, кажется, в тот миг, как выклюнутся. Коростелиха или дергачиха, не отличимая от ее рыжего супруга, не обижается, когда смотрят ее гнездо, неплохо свитое из сухой травы. Она, отбежав от гнезда, ждет, когда враг уйдет. Тогда она возвращается и усаживается на гнездо, маленькая рыженькая болотная курочка, не умеющая считать: два — три яичка можно унести, она не замечает. Но застать ее на гнезде с цыплятами, кажется, нельзя — разве попасть к ним в тот самый миг, когда они выклевываются. И найти их необыкновенно трудно. Он плут, этот рыжий дергач; он первый мастер затаиваться в густой траве болота, бегать между кочками. Летать он не любит, поднимается неохотно, когда на него чуть ли не наступят. А про дергачат и говорить нечего: черные плутишки так и шныряют по-мышинному, так прячутся, что не всякая собака их отыщет.

Кряква и чирок



Дикие утки гнездо и детей защищают самоотверженно. Крупная кряква кидается на собаку, на лисицу, дерется крыльями, клюет. Лапы у нее мягкие, клюв плоский, тупой. Сильно ударить нечем. Если бой неудачен и враг не отступает, то утка пускается на хитрость, притворяется подбитой, еле ползет по воде под самым носом у врага, лишь бы уманить его за собой, отвести от гнезда.

Чирок в драку не вступает: слишком мал; что уж тут драться. Но оба чирка, и утка, и селезень, неустрашимо встречают врага, чуть ли не в самую пасть его зубастую лезут: на, ешь меня, маленькую утку, оставь в покое мое гнездо. И хитрят не хуже кряквы.

Утка на воде ест, спит, живет больше, чем на земле, а гнездо устраивает не иначе, как на сухом месте; в болоте, но так, чтобы вода не подступала к гнезду.

Кряква стаскивает в грудку сухую осоку, мелкие ветви, кое-как сплетает их между собой во что-то вроде плоской корзинки и выстилает ее дно сухой травой, пухом осины, перьями, случайно подобранными. Бледно-зеленые яйца утка, сходя с гнезда, прикрывает пухом, надерганным из собственной груди. Заботится о гнезде кряква одна, потихоньку от селезня: если он увидит, то яйца разобьет, гнездо растреплет и ее, утку, отгаскает. Селезень-чирок помогает своей утке приносить веточки и осоку для гнезда. Оно свито поискуснее, чем у кряквы; стенки его высокие и до краев выложены зеленоватыми яйцами. Как маленькая утка ухитряется покрыть и согреть своим узким телом иногда двенадцать яиц? Уточка сидит усердно, изредка на минуту, на две сходит поесть и —

опять на яйца, прикрытые пухом. Чирок-утенок очень смешное существо: светло-серый пуховый орех, а по плоскому носу, по лапкам сразу видно, что это утка, не какая-нибудь иная птица. Утята кряквы темно-зеленые, как болотная тина. Они в ней, в тине, и прячутся, пока совсем маленькие. Когда они подрастают, то делаются полосатыми: по желтому пуху темно-зеленые полосы. Такая окраска незаметна среди осоки и камыша, где бегают полувзрослые утята-хлопуны: они долго не могут летать и, спасаясь от врага, прежде чем нырнуть, бегут по воде, хлопая голыми крыльями.

За одной кряквой иногда плавают два десятка разных утят: один в темном пуху, а другие уже хлопунцы полосатые. Такого выводка кряква вывести не может; у нее бывает не больше двенадцати утят; значит, остальных она подбирает, где случится.

Если крякву с выводком чем-нибудь сильно напугать, то она поспешит увести утят в более спокойное место. Они бегут за ней переваливаясь.

По дороге, случается, лежит толстый сук или образовалась сухая, без воды, яма. Маленькому утенку не перелезть, не перепрыгнуть, не переплыть. Темно-зеленые пуховички толпятся перед препятствием, беспомощно пища. Тогда утка берет каждого из них за шею клювом и, перенеся, возвращается за следующим.

Диких уток подпускают к домашним; они растут, выкармливаются, но если им крыльев не подрезать, то осенью они, молодые утки, улетают.

Есть утка-чёрнеть. Она лучше ныряет, чем летает. Питается она рыбой. Должно быть, чем-нибудь особенным кормит она своих детей: утенок чёрнети в неволе с домашним выводком ходит, плавает, но ничего не ест и, прожив кое-как день-два, гибнет.

Лысуха



Охотник, осторожно пробравшийся в глушь лесного болота, может иногда увидеть, как черная курица плавает на воде. Это лысуха. У нее на лбу белая костяшка, как будто лысина. Лапы у нее куриные, без перепонки, но плавать и нырять она не хуже утки. Бледно-зеленые с крапинками яйца лысуха укладывает в... плавающее гнездо. Да, кусок болотного хлама, не то пучок полусгнивших палок, перепутанных корнями, не то выветрившаяся, покрытая мхом кочка, и на ней гнездо, а в нем лысуха дремлет повесив нос. Ветерок легонько гонит все это по тихой воде. Лысуха очень осторожна и чутка. Треснул сломанный сучок на берегу — и зеленый островок с гнездом плывет пустой: лысуха беззвучно, как тень,

нырнула. И черные не то цыплята, не то утята при тревоге исчезают молча, мгновенно.

Утка-чомга, так же в плавающем гнезде высидев утят, возит их на спине. У чомги голова кажется очень большой от воротника из перьев вокруг шеи; и, прямо держа такую странную голову, чомга плывет, а на спине у нее сидят пять пуховых утят.

Лебедь



У белоснежного лебедя птенцы серые. Они покрыты густым пухом, точно ватой. Шеи у них прямые, короткие, клювы плоские, около клюва какие-то толстые щеки. У черных лебедей лебедята белые. Яиц в гнезде пять — семь, не всегда белых; иногда яйца рыжеватые, с зеленым оттенком.

Тот, кто хочет овладеть птенцами дикого лебедя, должен его убить, иначе лебедь к гнезду не пустит. Он строго охраняет и кормит лебедку и выводок. Около своего лебедь не терпит никакого крупного гнезда: он бьет и гонит прочь гуся, в ключья треплет его гнездо; если зазеваается гусенок и не успеет нырнуть, лебедь его убивает одним ударом клюва.

Лебедята белеют, когда начинают летать, но до третьего года жизни своим цветом отличаются от стариков: желтоватые какие-то.

В неволе лебеди уживаются хорошо, устраивают огромное прочное гнездо в камышах; у края воды груды сухой осоки. Полудомашние лебеди выводят птенцов, защищают их от опасности, приплывают с ними к кормушкам и не боятся человека. Но у всех пленных лебедей, даже у выключнувшихся на пруде зоопарка, шеи весной обращены на север, а осенью на юг. И если лебедю не подрезать крыльев, то, услышав серебристый крик лебединой стаи, он улетит: его не удержать ничем.

Гусь



Домашняя гусыня несет чисто-белые крупные яйца. У дикой они мельче и светло-серые. Иногда бывает их много, до четырнадцати. Серо-желтые гусята, пока они в пуху, очень неуклюжи на суше, и мать часто перетаскивает их за шеи при переходе через трудные места. Плавают гусята превосходно; в ветер переплывая волнистую воду, они все-таки держатся за хвост гусыни. А гусак, угрожающе погатывая, поглядывает по сторонам — он сторожит, плывя в конце за цепочкой гусят.

Из яиц, взятых в глуши болота из гнезда дикой гусыни, домашняя вполне благополучно высиживает птенцов, водит и кормит их как собственных, и они не пытаются вернуться к дикой, вольной жизни.

Хищники



более трех. Живут хищники всегда парами, охотятся оба, а гнездо строит самка.

Слепыми вылупляются на свет птенцы всех хищных птиц. По белому пуху их можно принять за утят, и носы у них коротенькие, плоские, но голые короткие лапки напоминают скорей цыплят. Орлята и ястребята — все подолгу бепомощно лежат в гнездах, растут медленно и питаются только тем, что принесут им старики. У маленьких ястребков бывает по пять — шесть яиц, у крупных птиц — не

Беркут, орел степной, скопа



На вершине дуба устраивает свое огромное гнездо бурый орел-беркут. Длинные ветви, сучья толщиной с два пальца идут в дело, складываются плоской грудой; внутри гнездо выстилается травой, яйца лежат на пуху — не на своем: он нащипан со съеденных птиц; ширина гнезда достигает двух метров. Гнездо должно быть крепко сделано: туда на обед семье орел приносит то зайца, то лисицу, то ягненка. Два птенца живо копошатся в ожидании еды; две огромные птицы разрывают на части добычу, да добыча эта иногда довольно тяжела — такой возни непрочное гнездо не выдержит. Подростки орлята выбирают из гнезда, лазят по ближайшим ветвям. Мать смотрит за птенцами, поддерживает их, не дает упасть. Месяца через два орлята начинают летать. В это время у них уже искривленные клювы, на лапах острые когти; орлята уже не в пуху, а в перьях серых, серовато-бурых. Однако для полного оперения орленку нужно шесть лет.

Степной орел гнездится в ковыле, степной траве, растущей на нераспаханной земле. Этот орел питается только сусликами, маленькими зверьками, похожими на крыс. Орлята, выходя из гнезда, скоро научаются подстерегать сусликов у их норок. Схватив когтями суслика, орленок убивает его клювом, а есть несет в гнездо.

На вершине скалы, на недоступном обрыве берега, на высоком дереве у большой воды устраивает свое гнездо скопа — водяной орел с белой головой, с белыми перьями в хвосте. Голубоватых с бурыми пятнами яиц в гнезде три. Птенцы получают в корм рыбу и утят. Как только крылья начинают держать птенцов, старая скопа ведет их на воду: она учит их не только летать, но и нырять за рыбой.

Тетереватник, перепелятник, пустельга



Воронье гнездо на высоком, отдельно стоящем дереве ястреб отнимает. Но вороны обычно селятся обществами и, едва заметят ястреба, орут все, мечутся стаями туда и сюда. Ястреба такой возни избегают, они строят свое гнездо у вершины дуба, сосны и около гнезда бьют и гоняют всякую птицу.

Для гнезда ястребиха таскает в клюве палки, несоизмеренные с ее ростом: иногда с палец толщиной. Гнездо также гораздо больше птицы. Узких острых яиц бывает три — четыре; у тетереватника они голубовато-серые, без пятен. Высиживает самка, почти не слетая с гнезда; самец носит ей есть, но сам ночует не в гнезде, а где-нибудь поблизости. Ястребята недолго остаются слепыми и голыми: они обрастают редким серым пухом; он висит на них клочьями, пока не начнут пробиваться перья; птенцы никогда не пачкают в гнезде: старики-ястреба подхватывают их выделения, заключенные в какой-то слизистый мешочек, и относят прочь. В гнезде падаются только объедки птиц и мелких зверьков, которых ловят ястреба на корм птенцам.

Ястреб, подлетая к гнезду с добычей, кричит особенным голосом, и птенцы пищат в ответ. Он на лету кидает добычу в гнездо, и оба старика, крича, учат птенцов разрывать добычу когтями. Ястребята, еще не оперившись, лазают по веткам около гнезда, падают редко: старики за ними зорко смотрят.

Когда молодые ястреба начинают летать, старики перестают их кормить. Молодые несколько дней вертятся около гнезда и жалобно кричат, но, поняв, что есть тут больше не дадут, улетают. Старики возвращаются на гнездо много лет подряд.

Тетереватник ловит не только тетерева, но и уток, кур, молодых зайцев. Это крупный ястреб — коричнево-рыжий со спины и со светло-серой, почти белой грудью с поперечными темными полосками. У него непомерно большие по маленькой головке ярко-желтые глаза; он видит удивительно: бросается с вышины, чтобы схватить мышь в колее дороги.

Перепелятник маленький, но очень жадный и дерзкий хищник. Он величиной с некрупную галку. Преследуя голубя, который больше его,

перепелятник с разлета врывается в жилое строение, иногда пробив окно, и, конечно, расшибается. Цыплят он хватает среди двора и, слушается, дерется с клухой. Это за перепелятником часто гоняются стаей галки и разные мелкие птички. Он делает вид, будто боится их, улетает и, вдруг схватив ближайшую, несет в свое гнездо. Он любит жить на елях. Кругловатых белых с голубоватыми пятнами яиц в гнезде перепелятника иногда бывает даже шесть. Птенцы очень малы — с грецкий орех, скоро покрываются бурым пухом и, точно крысята, лазают по гнезду. Старики с утра до ночи носят им не только перепелов, но всякую птичью мелочь, какая попадет им в когти.

Пустельга с утра до вечера, пока не поест, трясется под кустами и кричит тонко, зло: кли-кли-кли. Изогнутый клюв и острые когти придают пустельге хищный вид, но этот мелкий соколог не нападает на птиц; он ест только мышей, лягушек, ящериц. Рыжих яиц у пустельги в гнезде четыре — пять, птенцы разные: один совсем маленький, голый; другой, побольше, в белом пуху; у третьего пробиваются перья. Такая разница получается оттого, что, положив одно яйцо, самка-пустельга сейчас же принимается его высидывать, следующее же кладет через два дня. Кормят птенцов оба старика и смотрят за порядком, за тем, чтобы взрослые не обижали маленьких. Должно быть, хорошо смотрят, и каждому птенцу достается его доля пищи: погибших с голода птенцов пустельги что-то не находят.

Хищных птиц много; они сильно различаются одни от других, и некоторые удивительно хитро прячут свои гнезда. Более трехсот лет назад начали держать в неволе норвежских кречетов, почти белых, поразительно красивых. Их приучают ловить дичь. Они живут в плену по многу лет, охотятся по приказанию своих владельцев, но не разводятся. Как, где устраивает белый кречет свое гнездо, какие у него птенцы, — до сих пор неизвестно.

Сова



Белые, круглые, как шар, яйца сова-неясыть кладет в дупло дерева. Там перед совой жила белка или ворона. Сова не починяет их жилища, просто завладевает им. Болотная сова кладет яйца на кочку, без гнезда, почти без подстилки.

Едва проглянувший совенок больше похож на какую-то зверюшку, чем на птицу. Это ком светло-серого пуха. Он сидит на задних когтистых лапах; вместо передних лап — какие-то короткие мягко-пушистые закорючки — будущие крылья. Треугольный рот широко раскрыт посреди большеглазой ушастой головы. Он вытянется, этот странный рот; верхняя часть его окрепнет, превратится в твердый крючковатый

клюв. Белый пух порыжеет, посереет, побуреет, покроется черными пятнами. Четыре — пять молодых сов, бесшумно размахивая широкими мягкими крыльями, вылетят ночью за добычей вместе со стариками. Они долго держатся всем выводком около того дупла, где вывелись.

Сорока



Из вороньих птиц сорока самая хитрая. Она строит иногда четыре гнезда: одно настоящее (в нем она высидит до семи зеленоватых с темными пятнами яиц), а три гнезда пустых. В одно из этих она садится, громко стрекоча. Пересидев там опасность, видя, что около никого нет, сорока, как тень, шмыгнет к настоящему гнезду. При какой-либо тревоге она тихонько улетает в сторону.

Над каждым гнездом крыша, навес из ветвей: над настоящим, драгоценным, крыша прочная, тщательно сплетенная из веток так плотно, что почти не пропускает дождя. У пустых гнезд навесы сделаны кое-как, для вида.

Птенцов своих сорока кормит зернами, ягодами, а также яйцами и птенцами, украденными из гнезд мелких птиц. Покрытые грязно-белым пухом, сорочьи птенцы в неволе не выживают, но взятые из гнезд в пере, молодые сороки приручаются вполне, очень забавны и иногда выучиваются говорить два — три слова.

Зяблик



Самка зяблика строит свое гнездо недели две; самец не строит, он только приносит все, что нужно для постройки: шерсть, мох, кору, волосы, перья, нежную белую кожу, сдернутую с березовой бересты, паутину.

Гнездо, сплетенное из всего этого, снаружи облепляется серо-зелеными лишаями, растущими на березе; внутри оно мягко: там сетка из волос и пуховая постелька.

Можно долго пробыть под березой и не заметить гнезда зяблика — оно кажется одним из множества серо-зеленых пятен на белом стволе березы.

Мелких пестреньких яиц в этом гнезде немного: четыре — пять. Звон-

кую, веселую песню, сильно, бодро поет зяблик своей подружке, пока она высиживает, и носит ей корм. Потом кормлением занимаются оба — песен больше нет, когда выведутся крошечные серенькие птенцы с белым пухом, странно висящим около желтых ртов.

Если гнездо тронуть, зяблики улетают совсем прочь. Они бросают детей на гибель, не возвращаются к потревоженному гнезду.

Дятел



Гнездо дятла похоже на мешок. Оно висит в дупле. Верхним узким концом гнездо прикреплено к отверстию дупла, в нижнем широком конце лежат яйца — пять — шесть, острые, чисто-белые. Птенцы, пока совсем маленькие, шипят; они скоро начинают выглядывать из дупла и кричат: «те-те-те». Если дырку дупла прикрыть сачком, а по стволу дерева внизу постучать палкой, то птенцы выскакивают в сачок. Они легко привыкают к домашней жизни, пьют молоко, едят булку, потом сухари, конопляное семя, орехи.

Дятлу, выросшему в комнате, надо поставить обрубок дерева, чтобы он мог его щипать, иначе он испортит, расковыряет все, что попадется ему под клюв.

Клест



Особенной прочностью постройки отличается гнездо клеста.

Оно всегда у самого ствола старой сосны или ели, сплетено из травы, набито мхом, выложено еловой хвоей, наконец пухом. Сверху гнездо прикрыто ветвями, чтобы снег не попадал в него. Да, это зимнее жилище; птенцов клесты выводят в морозы.

С голубовато-серых, испещренных черно-бурыми точками яиц — их бывает четыре — пять — самка почти не слетает, греет их все время. Самец приносит ей семена из сосновых, еловых шишек и поет ей незапугливую песню среди осыпанных ином ветвей. Теми же семенами старые клесты кормят своих буровато-пепельных птенцов; у молодежи животы и подхвостья желтые, а у стариков там красные перья.

Дрозд



Невысоко в кустах, в развилке ветвей подвешивает свое искусное гнездо дрозд. Он, принося в клюве кусочки глины, слепляет их своей слюной, делает небольшую чашку, половинку шара. Пока глина сохнет, дрозд поет.

Песенка его проста; это скорей чириканье, чем песня, но где же взять лучше?

Дроздиха весело попрыгивает, слушая эту песню, потом приносит тонкие гибкие веточки и внутри глиняной чашки, глиняного полушара, висящего на кусте, свивает какую-то корзиночку, второй слой гнезда. Третий слой составляют конские волосы, шерсть, пух: их надо собрать по дорогам, в лесу, у пней, сучьев, где почесался или зацепился чей-нибудь косматый бок. Пух подбирается около осины, добывается из покинутых гнезд или нащипывается из собственного живота.

Яиц четыре — шесть; они ярко-зелено-голубоватые, иногда с темными пятнами на тупых концах.

Сначала голые, потом серо-пуховые дроздыта с утра до ночи просят есть, раскрывая желтые клювы. Старики усердно носят им ягоды, семена, гусениц и мух. Они сердито чокают на человека, на всякого врага, подходящего к гнезду. Не имея никакого оружия, чтобы заступиться за своих птенцов, дрозды пачкают врага так, что остается удивляться, откуда у них, у маленьких, берется столько этой пачкотни.

Жаворонок



Среди сухих стеблей, среди скошенных колосьев, на поле, иногда почти на дороге, в ямке, выдавленной ногой человека или копытом лошади, лежат крошечные рыжевато-серые яйца; их четыре — пять. Их заботливо греет своим телом, к ним плотно прижимается желтовато-коричневая птичка. А над ней, взлетая все выше, выше, звенит залиистой трелью тоже коричневый певец. Это жаворонок; он поет только в воздухе, на лету. И пока он веселится в вышине, можно накрыть сачком, иногда просто взять рукой его подружку. Она редко слетит, она только прижимается к тем, что дороже жизни.

К счастью жаворонков, их, желто-коричневых, очень трудно рассмотреть на глинистом поле, где они живут.

Слепые голые птенцы жаворонка недели две беспомощно лежат в своей ямке, пока не покроются серо-желтым пухом, потом начинают бродить. Крошечные цыплятишки никогда не прыгают, как воробьи,

а бегают, чирикают чуть слышными, но чистыми голосами. Кормятся они зернами и мухами, червячками, скоро научаются подбирать их с земли; старики подкармливают, приносят еду. Как только у молодежи окрепнут крылья, весь выводок жаворонков перемещается; старики отыскивают новую ямку; прежде чем кончится лето, они еще раз выведут птенцов.

Малиновка



Старый плодовый сад — любимое жилище малиновки. Она живет в таком саду охотнее, чем в лесу, устраивает свое гнездо скорей в колючем густом кусте барбариса, чем в высоких ветвях черемухи.

Гнездо — конечно, маленькое, едва ли с кулак величиной — всегда под кустом; оно свито из травы, переплетенной волосами, и висит на нижних ветках, иногда лежит на земле. В нем бело-розовых яиц пять — семь. Зарянками зовут малиновок за привычку петь на заре, но пока самка сидит в гнезде, самец, трепеща крыльями на ближайшей ветке, распевает и днем.

Птенцы, пища, высовывают из-за края гнезда широко раскрытые желтые носы — нельзя сказать, что клювы: слишком они мягки, плоски. Малиновка без отдыха таскает детям букашек, мух, червяков; они приносят эту добычу с плодов, подбирают на земле какую-то ползущую там мелочь. Суетня около гнезда весь день; кто тут отец, кто мать, почти невозможно различить: обе птички одинаково малы, у обеих темно-зеленые спины, красные груди. Малиновки не обижаются на то, что человек трогает их гнездо. Они возвращаются к нему, даже когда у них уносят двух — трех птенцов.

Но напрасно это делать: птенцов малиновки в неволе не выкормить.

Синица



Всегда битком набито яйцами гнездо синицы: десяток их по крайней мере. Синица-кузнечик ухитрится положить восемнадцать яиц. Они белые, эти яйца; на них красные крапины, и каждое яйцо величиию с кедровый орех.

Гнездо в дупле дерева, в расщелине старого строения, в тростнике, на стебле, у некоторых — на качающемся конце ветки, но всегда набито перьями. В одном гнезде насчитано две тысячи семьсот девять перьев, небольших, конечно, но надо же было за каждым перышком слетать.

Зинька полосато-желтая, гаичка красновато-пепельная с черной головой, гренадерка с пестрым хохлом и многие другие — все синицы выводят детей два раза в лето. Сколько же ртов всегда голодных, пискливых надо накормить! Ни одна пташка не суетится так, как синица. Она заглядывает в развертывающиеся почки деревьев, долбит тонким, как шило, клювом кору, проворно бегаёт по ветвям, иногда вниз головой — это она все отыскивает гусениц, личинок, куколок — мягкую пищу для теснящихся в гнезде птенцов: Они недели две голы, беспомощны, а потом, едва одевшись пухом с проступающими кое-где перышками, уже лазают по дереву и, крепко цепляясь когтистыми лапками за кору ветвей, долбят ее клювами: они уже знают, что там, под корой, свернувшись, спят мягкие вкусные червячки.

Кукушка



Пеночки, славки, завирушки и многие другие пташки, гнездящиеся по кустам, после короткой отлучки из своих гнезд находят там одним яйцом больше, чем они положили. Не замечает птичка нового яйца? Принимает ли его за свое? Почему не выкидывает? Никто никогда не скажет. Пташка продолжает высиживать, и птенец из нового яйца выклевывается первым. Она летит за кормом для него, а он, голый и слепой, подползает, подсовывается под соседнее яйцо, забирает его на спину и, приподнявшись, выкидывает из гнезда. Почему это делается? Также неизвестно, но снято фотографом, подсмотревшим эту тайну. Этот злодей — птенец кукушки. Он требует много корма, растет быстро и не перестает злодействовать, выкидывает из гнезда сначала яйца, потом проклюнувшихся птенцов. Бедная пташка продолжает усердно кормить прожорливого злодея. Он остается в гнезде один, вдвое, втрое перерастает свою приемную мать, а она выбивается из сил, доставляя ему пищу.

Выкормленная луговым чеканом, молодая кукушка — серая, полосатая, величиною с голубя, а рыженький чекан поменьше воробья. Крошечная пташка садится на спину своего питомца. Кукушка, завернув назад голову, открывает клюв, и кормилица-чекан вкладывает туда кусочек корма.

Так выросла кукушка, так выкормила ее луговая пташка. Их можно видеть: они сидят рядом, каждая в своей клетке, как будто незнакомы. Цело и гнездо чекана. Это все непоколебимо верно. Можно предполагать, что так оно бывает и на воле с кормлением птенцов кукушки. Остальное окутано тайной.

Говорят, что кукушка сносит свое яйцо на землю, берет его в клюв и подкладывает в гнездо отлетевшей пташки. Кукушка будто бы кла-

дет пять — шесть яиц через несколько дней одно после другого. Рассказывают, что, пока кукушка сидит с яйцом на земле, самец летает кругом. Он серый, пестрый, похож на ястребка; птички пугаются, слетают с гнезд; этим пользуется кукушка, чтобы подкинуть свое яйцо.

Как проверить такие рассказы? Вот что яйца кукушки по ее величине очень малы, белы, с крапинками разных цветов, а кукушечьи птенцы крайне прожорливы и растут необыкновенно быстро, — это верно.

Крапивник, королек



В густе хвороста на опушке леса можно найти висящий между сухими палками желтовато-зеленый шарик с небольшое яблоко. Он очень плотно свит, этот шарик, из сухих веточек мха; в него вплетены волосы, еловые иглы. Это гнездо крапивника. Он вьет их три, иногда четыре: в одном он живет сам, в другом самка высиживает семь — восемь яиц величиною с горошину, а остальные два зачем — это неизвестно.

Из таких крупных яиц, пожалуй, не следует ожидать больших птенцов. Действительно, два птенца крапивника укладываются в обыкновенный наперсток. Старички кормят птенцов крохотными насекомыми.

Крапивник был бы самой мелкой птичкой из всех европейских птиц, если бы не королек; этот еще меньше. У королька на голове, однако, хохол; сам же он желтый с зеленым, похож на синицу, а самка королька гнездо вьет на дереве, не в хворосте, и яиц кладет иногда одиннадцать.



МАЛЕНЬКИЕ КОЛЬЦА

Горихвостка-лысушка — серовато-бурая птичка. Нижние перья хвоста у нее почти красны, за то птичку и зовут горихвосткой. А на голове у нее мелкие белые перья — точно лысина.

Она очень мала, горихвостка, — меньше воробья, но не укрылась от Фильки. Этот оборванец недаром готовится в наблюдатели заповедника. Он шнырит с утра до ночи и знает всех и все. Ему известно, на какой

скале гнездится серый гриф. Слезть туда даже Филька не может. Скала высока, обрывиста, к гнезду можно только прилететь. Но показать гнездо, помочь рассмотреть его в бинокль Филька всегда готов.

— Хочешь, на Чатыр-даг сведу, — предложил мне Филька, — пещеру смерти покажу? Костей всяких куча, страсть сколько!

— Да ты, может, врешь?

— Ничего не вру. Дашь трешницу? Череп принесу человеческий: большой, маленький — на выбор, цена одна.

— Ну ладно, в другой раз. Теперь куда, пострел, бежишь?

— Горихвосток кольцевать. За трубой четверых, либо пяток одна вывела. Только их не достать — рука не пролезает.

— Ну вот, значит, и врешь. Как же кольца на птенцов надевать, если до птенцов-то не добраться?

— Щипцами доставать будем. Потеха!

И верно ведь, Филька не соврал. В застрехе, в уголке между краем крыши и покривившимся концом водосточного желоба, горихвостка из сухих листьев, сосновых игл, волос и еще какой-то мягкой чепухи устроила свое гнездо. Около трубы у гнезда стоит зоолог заповедника. В руках у него пинцет — длинные тонкие щипцы. Рядом с зоологом бо-соногий мальчишка держит картуз. Зоолог осторожно просунул пинцет в узкую щель и вытащил птенца, другого, третьего. Пять крошечных существ, почти покрытых сероватыми перьями, попали в картуз мальчишки.

— Скажи пожалуйста! — удивляется Филька. — Я считал пять у нее, а она сколько навыводила. Еще два осталось. Нет, тех не уцепить.

Те выползли из гнезда и забились в дальний конец застрехи. Птенцы в картузе широко раскрывали... что? Конечно, это скоро будут клювы, но пока больше похожи на рты: мягкие, треугольные, с белыми губами.

— Как дрожит, — сказал Филька, вынимая одного птенца, — попробуй!

Мелькает ли какая-нибудь мыслишка в маленькой головенке? Крошечное сердце пичужки бьется толчками, трепещет, сотрясает пернатое тельце, такое жалкое, беззащитное.

— Ну, нечего тут корячиться, — сказал Филька, — лежи спокойно!

Он, держа на ладони, переворачивает птенца животом кверху и двумя пальцами другой руки неподвижно держит лапу толщиной с нитку.

— Сейчас, сейчас покормишь, не бойся.

— Это ты кому говоришь?

— А вон прыгает с мухой в носу: матка.

В зеленой чаще ветвей, мелькая ярким хвостом, беспокойно, отрывисто пища, летала птичка. Она что-то держала в клюве и все-таки пищала.

Зоолог надел на лапу птенца алюминиевое кольцо с цифрами —

с условным знаком заповедника — и замкнул кольцо пояском на лапе птенца.

— Готов, — сказал зоолог, передавая птенца Фильке, — сажай на место. Следующего давай.

— Отправляйся домой, — напутствовал Филька, запихивая птенца под родную застреху.

В тот же миг туда юркнула горихвостка. Снесла ли она какую-либо закуску, я не уследил, но через мгновение птичка выпорхнула, пропала в зелени и вновь запрыгала, попискивая, по ветвям с червячком в клюве.

А на ладони Фильки, лежа лапками вверх, уже третий птенец получал алюминиевое кольцо. Два ждали очереди, лежа в картузе.

Куда полетят эти птички с кольцами? Где будут зимовать? Съест их незаметно ястреб, кошка? Погибнут они, убитые, сметенные шквалом при перелете через море, или благополучно подглядит их где-нибудь другой Филька? Будь он курчавый, черный негритенок в Африке, большеглазый мальчишка-итальянец или архангельский паренек с белой, как лен, головой, — все равно. Кто-то подметит кольцо на птичьей лапе, поймает птицу, снесет, пошлет зоологу ближайшей зоологической станции, а тот посмотрит знак и уверенно скажет:

— Эта горихвостка вывелась в госзаповеднике в горах Крыма. Вот откуда она к нам прилетела.

Великое дело — маленькое кольцо на птичьей лапе!



ОХОТА ЗА ГРИБАМИ

Чудесный дождь

На краю города окружен плодовым садом домик лесничего. Много в нем разных дикушинок. Там заяц спит рядом с охотничьей собакой, кошка возит на спине крысу, ест с ней из одной чашки. Скворцы, чижи,

снегири летают по комнатам, и сорока Машка в ответ на все вопросы пронзительно кричит:

— Здравствуй!

Она только это слово и умеет говорить.

Огромная шкура медведя вытянула когтистые лапы и лежит на полу. Чучело белой совы как будто взлетело над письменным столом. Глаза у совы желтые, круглые, светятся, как у живой; и кажется, вот-вот сова взмахнет крыльями.

По стенам, по углам везде ружья, пистолеты. Должно быть, старинные, курки у них точно молотки. Кинжалы висят длинные, короткие, прямые, кривые — всякие. Рогатая голова лося завешена пушистыми лисьими шкурками, а рядом еще какие-то меха — пестрые, хвостатые.

На шкафу целое стадо птиц, всё чучела. Есть маленькие, с воробья, а носы длинные. Тетерев совсем черный, только брови красные. А журавль выше всех — длинноногий, серый.

В углу, около шкафа, часы замечательные. Стоят в углу, точно столб. Деревянные, темные, бьют хрипло, глухо, совсем как большой колокол звонит где-то далеко. И когда они бьют, на полочку монах выходит из дверцы, поклонится и уйдет. Хлоп! Дверца закрылась, как будто внутри никого и нет.

Хозяин всех этих сокровищ — лесничий. Старый, длинный, худой. Он одет во все коричневое, и лицо у него коричневое, даже глаза и те коричневые.

Своих детей у лесничего нет, а чужих, как ни придешь к нему, всегда толпа.

Мальчиков он почему-то зовет петухами, девочек — тетерками.

Для нас он дяденька, и дедушка, и Степан Алексеевич.

— У меня в доме ничего не трогать, — сурово говорит коричневый дяденька, — вас, цыплят, тут двадцать, а то и три десятка за иной день пройдет. Если каждый погладит зайку раз, сколько раз зайка испугается? Правда, Машка?

Сорока кричит:

— Здравствуй!

А в саду у дяденьки другие правила.

Тут хоть на голове ходи, ешь, когда придет время, сколько влезет. Только деревьев не портить.

— За сломанную ветку прррогоно, — пугает дед, — веррно, Машка?

А сорока с березы у забора кричит свое: «здравствуй!»

Весенний поход

Чуть только стает снег и простучат колеса по городской мостовой, Степан Алексеевич в коротком казакине, в широкополой шляпе, в высоких сапогах выходит на крыльцо. Толпа ребят встречает его криком:

— С добрым утром, Степан Алексеевич!

— С добрым утром, — посмеивается он в ответ, — с веселым сол-

пышком. Весна, жаворонки давно прилетели. Цып, цып, цып! Сколько тут вас, мелочи? Становись один за другим. Раз, два... Одиннадцать петухов, пять тетерок. Весь выводок, значит, шестнадцать цыплят. За сморчками, за весенними грибами! Шалунишки, крикуны, болтуны пусть идут домой. Остальные, смирно, за мной марш!

Зимы в саду больше нет. Кое-где в ямках у корней безлистных деревьев еще видны пятна снега; земля вся точно в пузырях каких-то; в густой заросли вишен темновато; там прыгают лягушки и пахнет сыростью. На залитой солнцем полянке уже сухо. Около старых кривых яблонь коричневый дедушка поднимает высоко палку и тихонько кричит:

— Стой!

Он оглядывается, поджидает отставших и шарит палкой в толстом слое полусгнивших листьев. Нам знакомы эти крупные листья кленов и дубов, мы осенью таскали их сюда корзинкой.

— Готово, — заявляет дед, вынимая нож, — вот они, мошенники, обманщики, лгунишки-сморчки!

Он срезает с корней несколько остроконечных грибов.

— Тяни, тетерка, гриб за голову, тащи с него шляпку. Что, не стащить? Я и говорю, обманщики они, сморчки. Голова и корень из одной кожи, а вид такой, как будто шляпа есть. Ложношляпные грибы. Эй, петухи, кто листья носил сюда осенью? Забирай свои грибы. Вот тут, вокруг яблонь, я развожу их давно. Сморчки любят падалицу, гнилые яблоки. А в лесу сморчки лучше растут на кострищах, на местах, где разводили костры.

В корзинках у нас десятка четыре грибов величиной с орех. Два—три гриба полались крупные, с яйцо. Их плотные коричневые головы не гладки, а в маленьких неровных ямках. Верно ведь: похоже на грибную шляпку, а не шляпка!

Из дедушкиного сада по отлогой горе берега мы спускаемся к реке и входим на паром. Коричневый дед уже тут, поспел раньше всех. Он стоит у перил и кладет руку на голову каждому из проходящих мимо него «цыплят».

— Одна, две, — считает он громко, — пять. Тетерки все, а петухов сколько? Десять. Одного петуха нет.

— Я тут! — кричит Федька Лапин.

Он успел пробраться на паром и сидит в телеге, высоко нагруженной колесами.

Вот на паром с грохотом въезжают возы. Лошади пугаются, фыркают, топочут. Мужики ругаются, кричат. Наконец, успокоились, замолкли, паром отплыл. Но у пристани опять шум, возня.

— Эй, дядя, — кричит Степан Алексеевич паромщику, — дай-ка сходню сюда!

По широкой доске мы перебираемся с парома прямо на берег и бежим по пустой открытой равнине.

Это пойма, заливной луг. Летом тут будет сенокос, а теперь лужи,



Сморчок

какие-то палки, у редких кустов хворост, сор, лохмотья. Пахнет сыростью, как будто рыбной гнилью, тяжело, гадко.

Лес виднеется недалеко, и вот мы идем уже между деревьев. Странно как-то в лесу: голые сучья черны, тени почти нет, кусты стоят тощие, точно ошипанные, и около них сыро, плесень. Берез мало, чаще встречаются осины. Старые черные ольхи стоят толпами по краям каких-то оврагов с обрывистыми песчаными берегами. Узловатые корни выглядывают из песка. Огромные серые кам-

ни торчат между поваленными деревьями.

— Это все внешняя вода наверхтела, — объясняет дед. — Вот по таким обрывам, где на солнышке потеплее, где черные пятна, зола, угли, где, значит, костер горел или пожар прошел, там ищите!

Мы разбредаемся, лазим, шнырим среди старых пней, хвороста, песчаных ям, серых, гладких, огромных булыжников-валунов.

— Гоп! — тихонько выкрикивает Федька Лапин. — Гоп-гоп, есть. Сморчок!

Коричневый дяденька доволен; он покачивает шляпой и смеется:

— Вот пройдох. Глазаст. Ну, показывай, что нашел. Сморчок? Тот, да не тот. Не сморчок, а строчок! У строчка голова не острая, как яйцо, а плоская, широкая, толстая и не в круглых ямках, а в извилинах. Сморчки безвредны, а строчки ядовиты.

— Дедушка, на рынке только такие строчки и продают.

— Верно, тетерочка, продают, а все-таки я прав: это ядовитые строчки. Если их кипятком обварить, да еще с уксусом, тогда их можно есть, а зажарить прямо так — беда!

— Гриб, гриб, я тоже гриб нашла! — визжит самая маленькая из тетерок. — Дедушка, вот!

— Тс, тс, не кричи. Покажи-ка. Сложи кулаки.

Ну и строчок! Больше двух тетеркиных кулаков, сложенных вместе.

— Жалко разрезать его, — смеется Степан Алексеевич. — Ну, да ладно, авось другой найдем. Смотрите!

Он разломил шляпку гриба пополам. В грибе клешки сидят черные, коричневые, блестящие, вроде пауков, в грибе камешки, сор всякий. А с виду какой хороший гриб.

— В крупных сморчках всегда так. Вот мои два кулака. Правда, они побольше твоих? Так вот в Туркестане растут строчки ростом с два мои кулака. Внутри у них пусто; есть эти строчки можно, но они невкусны и почти никуда не годятся. Брось-ка ты своего великана. У мохового болота, по кострищам, около угольных ям, полные корзины наберем, на мариновку, на сушку хватит.

Солнце уже скрылось. Темнеет, холодно, и мы



Сморчок

спешим на паром. На пароме тихо, кроме нас — никого. Добыча наша богата: шесть кошелок почти полны отборными весенними грибами. Бух! Причал шлепается в воду, цепляется за столб, и паром дрожа пристает к берегу. Коричневый дед стоит у сходни, кладет руку на каждую детскую голову, считает:

— Раз, два... Шестнадцать, все. Ну, теперь по домам, до следующего, до летнего похода.

Подземный гриб

Когда сад покрылся свежей клейкой зеленью, а яблони и вишни уже отцвели, Степан Алексеевич сказал:

— Ну, грибники, сейчас в лесу делать нам нечего: никаких грибов нет. Месяца два диких грибов не будет. Рассказать вам разве про домашние? Не то, что про совсем домашние, а про те, что охотник до грибов разводить может?

Степан Алексеевич принес и поставил на стол небольшие стеклянные банки.

— Вот трюфели, — сказал он, указывая на банку с какими-то темными комками, — а вот шампиньоны. Видите, эти на грибы похожи, белые шляпки у них. А трюфель сразу и за гриб не примешь.

В древности этот странный гриб называли чудом природы и верили, что трюфель рождается от удара молнии в теплую землю, смоченную осенним дождем. Это выдумка, сказки.

Трюфель — такой же гриб, как и все прочие грибы, только он растет под землей, без ножки, без шляпки, угловатыми комками, то мелкими, как орех, то крупными, иногда с кулак.

Если один — два больших трюфеля прибавить в кушанье, оно, как уверяют обедалы, получает особенный вкус, как-то уж очень хорошо пахнет. Поэтому трюфели разводят, не жалея трудов и расходов. Самый лучший трюфель — черный и перигорский. Он обильно растет только в одной из провинций Франции, в окрестностях города Перигора.

Растет он около дубовых корней в известковой почве, обильно удобренной листовым перегноем. Как покажутся под дубками голые полянки, совсем без травы, — значит, трюфель есть. Трава засыхает над тем местом, где сидит в земле знаменитый гриб. Над ним, когда он начнет созреть, всегда толкуются роем желтоватые мушки. Раньше, пока трюфель еще не поспел, его по запаху отыскивает свинья.



Шампиньон



Трюфели

Француз, охотник за трюфелями, выбирает свою помощницу свинью из целого стада. Он кладет трюфель под подошву своего сапога и смотрит на прогоняемых мимо него свиней. Зафыркала одна из свиней, захрюкала жадно — значит, учуяла трюфель. Француз эту свинью и покупает.

Дома охотник за трюфелями закапывает лакомый гриб в кучу соломы, в опилки, в землю и заставляет свинью отыскивать. В лесу свинья жадно роет землю. Откопала гриб и хватается, тут ее по морде палкой хлоп! Трюфель срезают, а свинье дают какую-нибудь подачку: горстку бобов, репу, корку хлеба. Все-таки не так обидно свинье!

Иногда за трюфелем приходится далеко идти; тогда берут с собой не свинью, а собаку: свинья скоро устает и бежит тихо.

В СССР во многих местах растет трюфель не черный, не такой ароматный, как перигорский, но все-таки отлично вкусный, с приятным сильным запахом. Под Москвой лет шестьдесят назад трюфель отыскивали с медведями. Когда ручные медведи повывелись, трюфели стали искать с собаками и лишь кое-где — в Тульской, Самарской, Нижегородской губерниях — со свиньями.

Наш трюфель покрыт черновато-бурой кожей; внутри он бел, плотен, сочен и душист. Он растет в дубовых рощах, но встречается и в березняке, в осиннике, под кустами орешника, в сырой рыхло-известковой почве, усеянной крупными листьями.

Такой трюфель иногда вырастает с кулак, выскочит на поверхность и лежит двумя—тремя клубнями, точно картофель, не то в какой-то ямке, не то на плоской кочке, а вокруг него голо, травы почти нет. Найти этакого выскочку просто, но толку от него мало: он почти всегда изгрызен слизнями, зайцами, а если и уцелел, то сморщился от ветра, начал сохнуть, выдыхаться.

Трюфель вкусен, если сварить или сжарить его свежим.

А найти его можно в дубовой роще.

— Эй, Пижон!

Черный курчавый пудель, размахивая хвостом, подбежал к хозяину, и мы вышли в сад четверо: Степан Алексеевич, Федька Лапин, я и пудель.

— Сейчас мы покажем, — смеялся Степан Алексеевич, — как умная собака ищет трюфели. Вот два мячика. Они сшиты из одинаковых тряпок, оба серые, оба равной величины. Мячики по виду не различить, но к одному из мячиков я пришил черную нитку. Спрячьте оба мячика куда хотите. Готово? Пижон, ищи трюфели!

Пудель, фыркая, обыскал густой куст крыжовника, где запрятаны мячи, и с веселой важностью подал один из них.

— Так, молодец, — это трюфель, спасибо. Видите нитку? Федя, принеси другой мяч. Кидай оба в траву. Пижон, подай трюфели!

Собака пробегает мимо ближайшего мяча, чуть не наступает на него, но схватывает тот, что подальше. Опять с ниткой!

Как ни прячь, куда ни кидай мячи, пудель отыскивает и приносит

один, на другой не обращает внимания. Неужели Пижон видит маленькую нитку? Как рассмотреть ее на бегу в кустах, в траве? Не может быть.

— Не в нитке дело, — объясняет дед. — Мячик с ниткой пропитан отваром трюфеля. Этот запах Пижон знает давно; он у своей мамки учился отыскивать трюфели. А теперь, ребятки, пойдем в рощу за настоящими трюфелями.

— А Жука можно взять? — спросил Федька.

— Конечно. Сбегай за своим уродом.

— Да Жук тут, у ворот. Только я не знал, можно ли его взять с нами.

В пойму мы вышли с двумя собаками: за Пижоном ковылял криволапый, длиннохвостый, пестрый Жук.

На лугу, где изредка виднелись высохшие кочки болота, Жук, уткнув морду в землю, принялся копать быстро-быстро.

— Э, да из него будет толк, — сказал, подходя, Степан Алексеевич, — он грибной запах чует. Это дождевики тут. Целые гнезда. Вон там у коровьего гона можно диких шампиньонов набрать, те съедобны, но нам некогда ими заниматься, наше дело в дубках.

В кустах орешника перед дубовой рощей наш предводитель остановился.

— Федя, — сказал он отрывисто, — возьми Жука на ремень. Пижон, ищи трюфель!

Собака бросилась в кусты.

— Есть, готово, — тихонько кричит дед. — Пижон потянул. Смотри, ребята, сейчас увидите стойку.

Пудель, шнырявший в кустах, теперь крадется по полянке, вытягиваясь, прижимаясь к земле, ползет, вынюхивает, притаивается, как будто готовится прыгнуть на невидимую добычу, и замирает. Собака неподвижна. Одна из передних лап ее поджата. Блестящие глаза глядят в землю. Нос дышит так жадно, что весь шевелится, а хвост, вечно размахивающий смешной кисточкой, этот хвост вытянут. Кисточка висит, точно пучок сухой травы.

— Ну, спасибо, Пижон! Нашел трюфель. Получай.

Степан Алексеевич достал из сумки какой-то жирный кусочек и дал обрадованной собаке.

— Подходите, ребятки. Федя, спусти Жука. Ищи, ищи, Жучок, тут, тут, тут!

Жук, фыркая и радостно повизгивая, принялся рыть землю лапами.

— Довольно, Жук, поучился, нанюхался, теперь пошел прочь. Пижон, ложись!

Стальным наконечником палки Степан Алексеевич глубоко обкопал то место, где рылись собаки, и вынул какой-то землистый безобразный комок величиной с грецкий орех.

— Вот он, трюфель. Собаки чувствуют его тонкий запах, а для нас он пахнет только сырой землей. Других мы выкапывать сейчас не бу-

дем, трюфели еще не созрели; оставим до осени, только отметим. Обещайте небольшие колышки, воткните их там, где Пижон сделает стойку. Ищи, Пижон!

Пудель отыскал, обнюхал еще с десяток полянок без травы.

Жук прыгал, бегал за Пижоном след в след, старался ему подражать: поджимал лапу и хоть криво, смешно, но делал стойку!

Успехи друга радовали Федьку, но все-таки он мне шепнул:

— За груздями веселей ходить, а это что! Шатаешься, шатаешься, а грибов нет!

Жарко, тихо в тени кустов. Травы почти нет, но на толстых длинных стеблях стоят то желтые, то синие цветы. Около них, гудя, выются пчелы. Пискливый, длинный, однообразный, издали доносится крик птицы. До грибов ли тут? Да еще под землей их ищи. Спать хочется от всей этой тишины, от странного душного запаха среди темной зелени крупных листьев.

Скучно шататься, ничего не собирая.

— Охотники, носов не вешать! — закричал дед. — На всех охотах так: когда густо, когда пусто. С большими корзинами пойдем в лес осенью, а теперь домой с пустыми руками, почти ни с чем.

Зато наука. Нельзя грибнику не знать, как трюфель растет, как его ищут. До свиданья, ребятки! Пижон, домой, фью!

Грибное море

Кричали журавли, пролетая над лесом, а в лесу под ногами шуршали опавшие листья.

— Осень, ребятки, — говорил коричневый дедушка, стоя на опушке леса перед гурьбой детей. — Теперь медведь и заяц, белка и тетерев, все едят грибы. Вот все видали, собирали, едали грибы, а кто из вас знает, что такое гриб?

— Растение, — раздалось несколько голосов.

— Верно. Только странное растение. Цветка у него нет. Гриб — плод подземной плесени. Семян, как у других плодов, в грибе не найти. Его расцвет в том, что он крепок, свеж, полон соком. Когда гриб поспел, он уже стар, он сморщивается, съезживается, киснет на корню. Бедный дряхлый гриб, — корни перестают давать ему сок из земли, он умирает, и дряблое его тело распадается как будто в пыль. Но это не пыль, это мельчайшие капли, пузырьки, споры, зародыши гриба. Ветер разносит их всюду, они засыхают, пропадают. Только там, где влажно-теплый перегон хранит достаточный запас пищи, спора, зацепившись невидимыми сосочками, прирастает, вытягивается под землей в плесень-грибницу, и тут выскакивает снова гриб. Слышали поговорку: «Выскочил, как гриб на болоте»? Это, конечно, только поговорка — на болоте грибы не растут. Излишняя сырость грибу так же губительна, как сухость. На песке, на камне или у воды гриба нет. Грибу, повторяю, нужна теплая влажная почва, и только у корней деревьев растут грибы. Рыжики, на-

пример, водятся не иначе, как около елей. Э, тетерочка, ты что это нашла?

— Масленик, дедушка.

— Нет, это козляк. Шляпка у него скользкая, темно-желтая, загибается кверху воронкой. Если содрать с козляка кожу, съесть его можно, но это плохой гриб. Моховик на него похож, у того шляпку книзу выпучивает подушкой. Тоже дрянь. Маслята плоские, на коротких ножках, бледно-желты.

— Подосиновик нашел, — закричал Федька Лапин, — вот!

Он прыгал, размахивая крупным грибом на длинной белой ножке в ярко-красной шляпке.

— Отлично, поздравляю с началом, — медленно сказал дед, — но как же так, братец? Уговор был грибы срезать.

— Виноват, Степан Алексеевич, этого я нечаянно схватил, больше не буду.

— То-то нечаянно. Выхватить гриб с корнем коза или овца умеет. На месте гриба надолго, быть может навсегда, остается пустышка, из пустышки ничего не вырастет, — понятно? А срежь шляпку, оставь ножку гриба на земле — ясно, что споры остаются в удобном для них месте. Значит, новые грибы тут будут. Ну, ребята, у кого ножи есть?

Только у четырех мальчиков. Девочки все без ножей.

— Нам не дают, — пищали девчонки, — говорят: потеряете.

— Так я и знал, — ворчит Степан Алексеевич, вынимая из корзины сверток в тряпке. — Самый плохой ножик, обломок ножа тут годится. Хорошо, что я пяток захватил. Держите. Как раз на каждую пару по ножуку выйдет. По двое идите. А палки у всех есть? Не лапами же разгребать траву и листья, — на сучок легко напоротесь, гадюка схватить может. Ну, в путь. Сбор около полдня на полянке у дубков!

Мы идем по лесным тропинкам, лазим по канавам, шарим во мху, под ветвями поваленных деревьев, около пней, у кустов орешника. Грибов много. Я и Федька Лапин идем парой.

— Сыроежек брать не буду, — говорит Федька. — В прошлом году я одну съел...

— Сырую?

— А как же. На то она и сыроежка. Так потом два дня не знал, куда деваться, наизнанку выворачивало.

— А вкусно?

— Так себе. Плохого ничего нет, не горько, сыростью, грибом пахнет. Другие едят, ничего не бывает. А я больше не стану.



Рыжик



Козляк



Моховик



Подосиновик

бов собрали груды.

— Ну, цыплятки, — смеясь, говорил Степан Алексеевич, — по правде говоря, дряни насбирали. Свалили все в кучу? Обижать никого не хочу, не спрашиваю, какие чьи грибы. Это что за шляпа? Старый березовик. Да такой шелепень никуда не годится. Смотрите!

Дед бросил на землю бурую шляпку гриба с чайное блюдечко величиной, и шляпка дрябло распалась на куски.

В тухлявой мякоти чернели ходы червей.

— Видите, у него зеленая борода выросла? А березовик с бородой — последнее дело. Черные точки на шляпке — это значит, червяки в гриб забрались. Гриб-зонтик тоже не надо брать, это поганка. Вот я вижу, лисичек вы набрали. Мой совет: бросьте их.

— У нас их жарят!

— А у нас сушат!

— Моя мама маринует. Вот вкусно как!

— Дедушка, можно лисичек оставить?

Степан Алексеевич зажал уши.

— Ну, оглушили совсем. Оставьте, кому уж так хочется. По-моему, лисичек ни желтых, ни оранжевых есть не стоит. Оранжевые лисички — у них шляпки точно в пуху — про тех прямо скажу: берегитесь, нельзя их есть, они ядовиты! Федя, хочешь сыроежку скушать?

Однако Федька Лапин куда-то скрылся.

— Это его любимые грибы, сыроежки, — насмешливо продолжал Степан Алексеевич. — Он закусил как-то сыроежкой, так год забыть не может. Впрочем, жаренные прямо из лесу сыроежки вкусны, а в заготовку ни в какую не годятся: слипаются, крошатся. Дрянцо порядочное. Глядите, вот грибы так грибы!

Он откинул холст со своей плоской корзинки. Там ровными рядами лежали одна к одной разноцветные шляпки.

— Вот белый гриб из-под березы. Шляпка у него красноватая. Сварить ее, — она станет ярко-красной. Под дубом также растет белый гриб; там он надевает коричневую шляпку, слегка зеленоватую. На



Лисичка

стоящий боровик щеголяет в бархатной темно-бурой шапочке; такие встречаются в сосновом лесу, а в ельнике растет первый сорт гриб в бледно-розовой шляпке на белом длинном ядреном пеньке. Называется он руфель. Лучше гриба уже не бывает.

— А этот, дедушка, не лучше?

Федька прыгал с двумя белыми шарами в руках.

— Ну вот, только его недоставало. Ах ты, шут гороховый! Это чертов табак. Хлопни-ка его обо что-нибудь.

Федька стукнул по белому шару палкой.

Шар лопнул, и облачко черной пыли взвилось над пнем.

— Это пылевик, дождевик: гриб тоже. Его также предлагают есть, — сказал Степан Алексеевич, закрывая свою корзинку, — утверждают, будто он вкусен, когда середка у него белая, розовая, свежая. Сколько лет я хожу по лесам, как ни возьмешь дождевик, хоть самый маленький, всегда он набит черной пылью. Правда, чертов табак. Тыфу! Я вам, ребятки, пожалуй, насчитал бы еще десятка два таких грибов, да не стоит. Идите-ка вы лучше за белыми и за черными.

— Это какие же, дедушка?

— Да те, что в красных шапках стоят под осинами и березами. Разрезанные, они чернеют тотчас, но это очень хорошие грибы. Ну, опять в лес! К закату солнца сбор у ручья.

Длинными стали тени в лесу, когда с полными коробами и корзинками сошлись мы в назначенном месте.

— Раз, два, — считал дедушка, кладя каждому на голову руку, — восемь петухов, десять тетерок: все тут. Отдохните немного — и домой. Федюшка, покажи-ка твой кузов. Сколько набрал?

— Восемьдесят четыре белых и один на память.

— Какой?

— Тот подосиновик, что с корнем сорвал.

— У тебя же разные были!

— Все выкинул. Только белые несу.

— Правильно. Белый гриб жареный, вареный, запеченный в пироге, маринованный, соленый, сушеный, замурованный на долгие годы в банке, всегда хорош, свеж, вкусен. И какой он простой, добродушный парень, этот белый гриб, без всяких вывертов и причуд! У лесных тропинок, по канавам, около всех деревьев растет! Это богатство, драгоценность наших лесов, белый гриб. Берегите его, ребятки, никогда не вырывайте с корнем, отрезайте только шляпку.

Мы, гурьбой теснясь около дедушки, шли по горе, освещенной заходящим солнцем.

— Дедушка, а почему рыжиков и груздей не нашли ни одного? — спросила девочка.



Масленник



Боровик

— За рыжиками дня через два в старый ельник пойдем, в Куликов бор, а за груздями еще рано идти. По холодной росе за ними поедем, роспуски¹ найдем. Грузди всегда далеко от жилья растут, большими партиями под мхом, под опавшими листьями, так что и не увидишь.

— Как же найти-то?

— А носом. Придем да понюхаем. На утренней заре чувствуется, как едко, остро пахнет груздь. У груздя сок как молоко с перцем: белый и жгучий на вкус. Его ни улитка, ни червяк не трогают, ничей зуб не кусает, никакой клюв не клюет. Без царапин, без пятнышка он растет в холоде осенних ночей — самый чистый гриб груздь.

Солнце зашло. В окнах домишек на берегу зажглись огоньки. Степан Алексеевич остановился, снял шляпу.

— До свидания, ребятки, — сказал он. — Не раз еще бываем мы в лесу. Много там грибов. Видели вы, конечно, у пней, у поваленных деревьев тоненькие, хрупкие грибки на длинной ножке. Это опенки-убийцы. Они разрушают дерево; их цепкие споры проникают в древесину, вносят туда заразу, смертельную болезнь, рак дерева, гибель, смерть. Запомните: у человека среди грибов больше врагов, чем друзей. Берегитесь врагов — против грибного яда противоядия нет. Бледная лесная поганка — это смерть. Осторожней с неизвестными грибами! Но при охоте за полезным грибом, повторяю, ребятки, берите с собой ножик. Не грабьте лес, берегите его богатство. Пусть останется ножка гриба там, где прижилась откуда-то прилетевшая спора, зародыш гриба. Довольно. Следующее поколение грибов тут вырастет — многочисленное, и тогда его в полном соку опять срежет нож.



ПРОЗРАЧНЫЕ ДНИ

Воздух похолодел, но над скошенным лугом еще висит благоухание срезанных и увядающих трав.

Самый яркий признак осени — протяжно несется паутина, цепляясь за что попало. Наудачу пускается в свое воздушное плавание паучок

¹ На тележном ходу кладут вместо кузова решетку; по обе стороны, свесив ноги, можно сестьдесятерым.

на конце белоснежной нити. Зачем так летит неосторожный путешественник, почему не сидит спокойно где-нибудь в родимом уголке? От мамы своей спасается паучок. Что поделаешь, такая у нее странная привычка: как вывела паучиха детей, так кидается их есть. Ну и лети, куда ветер дунет.

«Бабье лето» настало. Спешите, охотники!

Они слишком коротки, слишком драгоценны — стремительные ярко-изумрудные дни начала осени, пахнущие яблоками в лесу, где нет ни одной яблони, дни красных гроздьев рябины, рдеющих в зелени, дни первой позолоты лип и берез, странных криков с вышины от незримых птичьих стай, прозрачные дни ласкающей теплоты солнца и неожиданных откуда-то ледяных дуновений.

Черемуха, осина и клен начинают пышное увядание леса. Это они вместе с молодыми березами в багрец и золото одевают лес. Осина дышит горечью, сбрасывая побуревшие листья. Клен стоит золотистым, пока еще держится на ветвях его лапчатые листья. У березы часто встречаются выродки: совсем красные, хотя еще полные соком листья.

Река пустынна. Перестали носиться над ее гладью почти черные ласточки. По отмелям между мелкими камнями не шныряют, смешно подпрыгивая хвостиками, зеленовато-серые трясогузки. Вместе ли они, трясогузки и ласточки, летят в теплые края? Исчезают они одновременно.

А кукушка? Давно улетела или только затаилась, молчит? Черно-мохнатых гусениц, любимых кукушкой, еще много в лесу севера, а кукушка где? И если улетела кукушка, то в одиночку, как хищники пробираются по ночам, или, по честному птичьему обычаю, громко кричащей стаей? Однако кто же когда видел табун кукушек?

Как бы там ни было, до будущей весны прощай, милейший из всех голосов леса!

Теперь, отлетая на теплые моря, с вышины гогочет гусь, кричит журавль.

Курлыкание журавлиной стаи нельзя слышать без волнения. Этот могучий зов из-под облаков что-то смутно напоминает грустное и приятное, куда-то манит. И как он значителен, журавлиный клич, как далек от зычного гоготанья гусей, от нелепого криканья уток!

Болота населены густо. Среди начинающих рыжеть кочки таятся долгоносые кулики, бекас и дупель. Ночью откуда-то с севера прилетают стаи и отдыхают тут день — два. Это — высыпка, это — счастье, охотничье, конечно. К болотным присоединяется лесной кулик, вальдшнеп; он тоже ненадолго присаживается в болото, вероятно, в силу бесконечно давней привычки.

Вальдшнеп не может сесть на ветку, не в состоянии проглотить никакой ягоды. Гнездо делает по-куличьи, на земле; по всем статьям вальдшнеп — кулик, а живет в лесу. Но осенью хоть на час, на два побывает в болоте.

Когда красное без лучей солнце поздней осени выглянет из-за края земли на седую бороду полузамерзших кочек, там, в болоте, к восхищению охотника, из-под собаки вспархивает гаршнеп. Волосяным куликом прозвали его немцы, — такие у гаршнепа тонкие перышки на голове. Он не больше воробья, но на высоких лапках. У него коричневые перья и длинный нос. По всему облику — красная дичь. благородный гаршнеп — последний пернатый гость северного болота.

Уже безлистными стоят многие деревья. За груздями прошли грибки. Под одеялом из мха и хвойных игл притаились семьи сероватых, полных жгучим соком грибов. Острый запах груздей в свежем воздухе утра дает грибнику знать, где скрылся пласт лучших для солки грибов.

В моховом болоте, на буром ковре, видны среди красных белые пятна. Снег? Нет, белые куропатки. А краснеет клюква. Так много кислой ягоды — значит, просто ее собирать? Не очень. Тяжесть куропатки — любительницы поклевать клюкву — спокойно терпит предательмох, но едва вступит на него, на мох, человек, мох выпускает воду, холодную как лед.

В это время лесная птица уже одета плотно, по-осеннему, и довольно резко меняет свои привычки. В черном пере молодой глухарь, зеленью металла заблестела его шея. Напрасно перестал он отсиживаться в трескучей трущобе и только на зорьке вылетать на ягодник, как это он делал все лето. Теперь глухарь средь бела дня несется — этакая махина — к лиственнице или осине, ищет там уцелевших на ветвях остатков хвои и листьев. Тут в него, в глухаря, конечно, хлоп да хлоп!

Тетерева-полевика сбились в стаи. Пока лист был на деревьях, тетерева не отличались особой сообразительностью. Теперь они совсем глупо летят к чучелам, торчащим в березняке.

Грубо сшиты из тряпок чучела; часто это просто чурки. Ничего! Тетерев подсаживается к чучелу, кокает вопросительно, вероятно удивляется, почему собеседник молчит. А в глупца из шалаша — хлоп! Он падает.

Остальные глупцы сидят и смотрят: что такое случилось? Отчего он упал? Но если даже взметнутся после выстрела тетерева, то немного погода опять прилетят поболтать о чем-то с чурками.

Кончился листопад? Нет, на вербе еще треплются листья, на той самой вербе, что первая надула пухлые почки при первом дуновении весны. Теперь верба раздевается последней.

Исчезли перелетные птицы? Не все. С протяжным резким криком над полузамерзшим озером размахивают узкими белыми крыльями чайки. Они прилетели сюда в то время, как воды сбрасывали лед. Теперь чайки улетают так поздно. Последними?

Нет, после чаек еще летят лебеди. В недосыгаемой вышине несутся лебединые станицы, и крик их звонок, как звук серебряных труб.

Белыми мухами замелькал первый снег.

Таков закон севера: его весна приходит, осень уходит, вода сбрасывает лед, а земля готовится скинуть снежное покрывало — все при трубном кличе лебединых стай.



ПОДЪЮРЛОК И НОДЬЯ

К гусяной стае на озере подбирались мы по топкому болоту. Федька полз первым и вдруг ухнул в воду, провалился по горло. Я удержался, но все-таки вляпался, зачерпнул в сапоги. Гуси улетели, даже выстрелить не пришлось.

Вода как лед. Ветром продувает, кажется, насквозь. Просто беда. Поплелись, повесив носы, к дому.

В конце Долгого озера кое-как дошагали, когда уже начало темнеть. Смотрим, костерок курится, над ним навес из ветвей, около него Иван Максимыч сидит, наш деревенский охотник, старик.

Он в овчинном полушубке. Видно, что ему тепло и сухо. Не то, что нам.

Старик строго осмотрел нас, молча выслушал рассказ о нашей неудаче и совсем сердито сказал:

— Не по вашим носам табак — гуси. Домой вам не дойти; околете, так матери мне не простят. Нечего делать, придется вам тут ночевать.

— Нет, холодно. Погреться позвольте, а потом мы пойдем.

— Вот этого-то и не позволю. Не суй лапы в костер, дурак! Хочешь, чтобы их навек скрючило? Федька, раздевайся догола, живо! А ты, другой, снимай штаны! В сапогах-то хлюпает, а?

— Хлюпает.

— Ну вот! А сам весь синий. Снимай, выжимай все тряпки!

Иван Максимыч вдруг улыбнулся ласково.

— Вы не бойтесь, ребята. Я вам зла не сделаю. Слушайтесь деда.

— Да холодно, Иван Максимыч!

— Ничего. Сейчас тепло будет. Выжимайте чулки, рубашки, все. До последней капли крепче жмите. Надевайте снова все на себя и марш бегом за дровами. Картошка уже сварилась. С чаем ждать буду. Ну, скорей!

Когда мы, все еще дрожа, вернулись с охапками хвороста, чайник кипел на огне, и котелок с картофелем, дымясь, стоял на обрубке.

Мы мигом очистили котелок, хватили по кружке кипятку.

— Ну как? — улыбаясь, спросил старик. — Все еще холодно?

— Точно горячих угольев наглотался, — отвечал весь красный Федька. — Вот здорово нагрелся. Жарко стало.

— А как твои лапы, молодчик?

— От них пар идет, горят.

— Вот это самое и требуется. К костру в мокром платье никогда не суйся — насмерть простудишься. Можно в прорубь с головой провалиться — не беда. Надо, чтобы изнутри тепло стало, а не от огня. Когда просохнешь, сиди, грейся, спи, тогда ничего.

— Мы дров на всю ночь натаскаем, — предложил я.

— Не нужно, — отвечал старик, — вашего хвороста хватит разве только чайник вскипятить. Я вам еще на нем похлебку из зайца сварю. А на ночь хвороста не напасть.

— Неужели без огня сидеть?

— Зачем без огня? Это даже летом скучно. Нет, мы до утра спать в тепле будем. У меня подъярлок готов.

Мы с Федькой переглянулись. Что такое?

— Вот подъярлок, — говорил Иван Максимыч, подтаскивая к огню толстое бревно, — называйте его подкладкой или как хотите — мне все равно. У нас, в Забайкалье, название было: подъярлок. На него кладут три бревешка потоньше, кладут так, чтобы концы их немного через подъярлок высывались, а другие концы врозь торчали. Потом зажигают подъярлок и короткие концы тонких бревен. До утра гореть будут. Раза два за всю ночь только встать да подвинуть обгоревшие бревна. Вот и все.

Иван Максимыч делал то, что говорил. На подъярлок он навалил три бревна длинными концами врозь, а под короткие их концы подложил пылающих головешек из костра. Могучим жаром повеяло от загоревшихся бревен.

— Теперь готовьте себе постели, — продолжал Иван Максимыч, — еловых лапок нарубите. Ели тут близко. Вот топор. Общими руками за топорщище держись, а то в темноте по пальцам тяпнешь.

У, как сыро, как прохватывает ветром в лесу! И как светло, тепло, сухо под навесом около костра!

— Вот холодище там, — сказал я, возвратившись с ворохом ветвей, — а здесь славно. Неужели так тепло только от этого навесика из прутьев?

— Учись, дружок, ночевать в ненастье, — усмехнулся Иван Максимыч. — Прежде всего искарь ищи.

— Что?

— Искарь. Мы сейчас за искарью сидим, как за шитом от ветра. Это ель, вывороченная с корнями. От подъярлока в нее жаром пышет, как в стену, а от нее теплоту обратно отбивает. Тут нашему брату, бродяге, и притулиться.

— А зимой, Иван Максимыч, вам случалось ночевать на морозе? — спросил Федька.

— Вона! Сколько раз. Тогда, ежели искари не найдется, из снега надо сделать стену и огонь еще попрочней развести. Зимой не подъяурлок кладут, а нодью. Смотрите!

Иван Максимыч встал, принес из темноты два обрубка — один толстый, другой потоньше — и положил их вдоль один на другой: толстый вниз, тонкий сверху.

— У толстого, — объяснил он, — стесывают верхушку, у тонкого — низ. Между ними кладут сырые клинья, а в промежуток между бревнами напихивают сушняку и зажигают. Конечно, колья тоже сырые вколачивают по обе стороны бревен, чтобы они не сваливались. Бревна берут из сухостоя, и чем толще, тем лучше. У нодьи всю зимнюю ночь проспийшь спокойно; нодью и поправлять нечего, а с обыкновенным костром, сколько дров на него ни таскай, не уснешь, только измучишься и иззябнешь. Так-то, дружки мои, все нужно знать. Покойной ночи! Вы спите, а я вам еще на утро похлебку сварю.

Я видел, как он откуда-то принес зайца, повесил его лопухой головой вниз на кол в красном свете костра. Мне очень хотелось расспросить про зайца, но язык почему-то ничего не выговаривал, а Иван Максимыч то появлялся, то пропадал. Изредка мне слышалось как за искарью свистит ветер. А может быть, это все снилось. Огонь вдруг погас. Все исчезло, кроме теплоты.

Точно из больших пушек ударило два раза: бух! бух!

Я вскочил. В сером пепле бледно светится огонь. Неужели утро?

— Федька, стреляют! Пойдем скорей!

Но Федька только ногами поболтал и продолжал сопеть.

В огромный пылающий уголь превратился подъяурлок; огненными пальцами торчали над ним, догорая, тонкие бревна. От них на несколько шагов веяло жаром, как из печи.

Везде висит туман, кругом пронизывающая сырость. Я вернулся к теплой стене искари, улегся рядом с товарищем и снова уснул.

— Вставайте, охотники, домой пора! — весело и громко говорил Иван Максимыч.

Он над чем-то возился около костра, вешал над ним чайник, раздувал угли около котелка. Пили чай. Потом ели необыкновенно вкусную похлебку. Всего интереснее, однако, были две огромные серые птицы. Они висели вниз головами на коле, где ночью висел заяц.

Я наконец не вытерпел и спросил:

— Это гуси, Иван Максимыч? Ваши гуси?

Мой вопрос ему, видимо, очень понравился.

— Мои! — захохотал он. — Ха-ха! Это мои гуси! По-стариковски парочку уложил. Гусь, голубчики, дело тонкое. Тоже надо знать, как к гусю подойти. А без науки гусь к себе не пустит. Ну, одного гуся на двоих дарю. Тащи домой, ребята!



ЗАЯЦ

Преступление

Гончих собак называли прежде тявкушами. Отыскивая чутьем след зверя, гончая взвизгивает, вздыхает, тьякает. Это совсем особенный голос, не похожий на обыкновенный собачий лай. Задыхающийся звук такого тьяканья ясно дает понять, что собака кого-то гонит, а не просто брешет.

И я догадался сразу, в чем дело, когда впервые в жизни услышал гон.

Я, двенадцатилетний стрелок, отдыхал на высоком берегу реки. Красным заревом заката освещена напротив меня широкая песчаная отмель. За мной уже темнеет дубовая роща — Дубки. На костре кипит мой чайник. Я достаю из сумки кружку и вдруг слышу: гон!

Тогда я схватил ружье и в три скачка перемахнул к тропинке, видневшейся между деревьями.

«Нельзя стрелять из-под чужих собак. Что будет? Кто выскочит? Я только взгляну», — смутно несло у меня в голове.

Гон все ближе. Всклипывают, стонут, чуть не плачут собачьи голоса, перебивают друг друга, сливаются в странный хор, смутно волнующий сердце.

Вот глухой топот многих лап несется где-то в глубине рощи; вот листья шуршат под осторожными прыжками. На дорожку выскочил заяц, и, забыв все на свете, я выстрелил ему навстречу. Он упал как подкошенный и еще дрыгал задними лапами, когда я бросил его в проломленную стенку стоявшей тут же сараюшки с сеном. Мгновенно вернулся я к костру, налил кружку и сделал вид, будто пью чай.

А из лесу, продолжая голосить, примчались три собаки. На том месте, где упал заяц, собаки разом смолкли, точно проглотили длинные свои языки, пометались туда-сюда и скрылись.

Прибежали трое красных, мокрых, пьяных. Один с бельмом на глазу, горбатый. У него ружье. Они орали, расспрашивали меня, ругались. Горбач совал мне к носу кулаки.

Сердце у меня прыгало, но я твердо держал свою кружку. За что меня бить? Почему мне знать, кто стрелял? Ни зайца, никого не видал. Вот моя добыча: четыре кулика. Сижу и пью чай.

Трем парням накинуться на мальчика неизвестно за что — уж чересчур дико. Побуянили, поругались и ушли. Кривой долго оглядывался и грозил мне кулаком.

А мне что? Даже не стыдно больше за чужого зайца. Так им и надо. Это приказчики из гостиного двора, зубоскалы и насмешники. Пристают к охотникам, покупающим порох или пистоны, издеваются, дразнятся. Теперь с ними в расчете.

На горé в городе зажглись огни. Но я дождался полной темноты и окольными путями пробрался домой. Безопасно, но отчасти жаль, что никто не видит, как шагает охотник с зайцем, привешенным на спину за все четыре лапы. Это был русак, весивший тринадцать фунтов с лишком. У него рыжие лапы, толстая бурая спина и длинные серые уши с черными кончиками.

Наказание

Дичь, убитую из-под чужой собаки, счастливый стрелок обязан отдать владельцу собаки, от него получить заряд пороху и дрови — и дело считается конченным.

Этот охотничий обычай я, однако, при первом моем зайце остерегся применить. И правильно: был бы за него избит. Но за свое преступление, очевидно не очень тяжелое, я понес наказание если не жестокое, то продолжительное.

Заяц стал моей страстью навсегда.

В течение десятков лет после происшествия в Дубках я жил во многих городах. Куда бы я ни приехал, первый охотничий вопрос мой везде был:

— А как здесь зайцы?

И я жадно бросался за лопухой добычей всякими способами. А их немало.

Стрелять зайца на úзерку — значит, долго бродить по опушкам, всматривая, не видать ли где-нибудь белого пятна на черном поле. Это заяц, побелевший раньше, чем выпал снег, — это беляк. Он к зиме цветает так, что у него только кончики ушей остаются черными, остальное белоснежно. Этакого издали видно в лесу сквозь безлистые ветви. Беляк выходит на открытые поляны, ищет мест, запорошенных первыми снежинками, и там лежит, сжавшись в комок. Видит ли он плохо, или попросту дремлет, но только ступай твердо, стрелок, не шлепай, не вези ногами по замерзшей земле, не брякни ружьем, держи его начеку — беляк подпустит на выстрел. Пали! Ах, черт возьми, да это не заяц, а ямка со снегом, — много их тут, ямок. Канавки какие-то, палки, камни, разная дрянь. Надуло на них белых хлопьев. Кое-где крупные пятна белеют. Нет, теперь не обманешь. Ружье за плечо, шмыг, шмыг усталыми сапожищами. Вдруг пятно вскакивает и убегает. Опять неудача! Да это не кустик, а очень резвый беляк.

Прошататься так весь день и вернуться домой ни с чем — очень скучно.

Дома смеются:

— Охотник-то опять пустой пришел.

Гораздо хуже то, что на утро несчастная страсть опять шепчет про зайца и снова гонит в черное поле с белыми пятнами.

На жнивье, на палый лист, в рыжих кочках сухого болота ложится русак. Спина у него бурой остается круглый год, к зиме только морда седеет. Этакого далеко видно на белом поле. Тогда русак ищет коричневую подстилку. Иной лежит так крепко, что чуть ли не наступить на себя даст. Как вскочит да задаст стрелача, то видно, кто такой, а то пенек, камень, комок какой-то. Значит, надо внимательно обойти овсяное поле, рыжие кустики можжевельника, безлистый березняк и раздетую дубовую рощу. Тут ведь, тут лопухие негодяи, только притаились, не видать никак. Ну и бродишь от зари до зари так, что лица, не причастные к делу, с удивлением повторяют:

— Вот мучится человек, — охота пуще неволи.

Лежа в сугробе, подстерегал я зайца, в то время как все благоразумные люди спят. В морозную, ясную, тихую ночь — светло лунное сияние. Мохнатым инеем обвешаны кусты, точно облака застряли на опушке. Дальше в серебряных покрывалах недвижны деревья. До всего этого никакого дела нет зайцам. Они спешат глотать вершины осин, лежащих на земле. Вот роскошь — заячий пир.

Кто-то позаботился — навалил грудой нежные ветви, каких обычно понюхать не приходится лопухим. Издалека бегут к лакомству голодные грызуны, собираются стайей, шалют, возятся, прыгают друг за другом с веселым пискотом.

Эй ты, там в сугробе, белый балахон! Стреляй скорей! Невидима твоя засада, сама пришла к тебе твоя дичь! Стреляй да подбирай добычу!

Все так. Но лунный блеск дробится на стволах ружья, смутной тенью мелькает неверная цель, и плохо действуют скрюченные холодом пальцы. На предательской закуске гораздо меньше гибнет беляков, чем можно было бы ожидать.

Русак на лесную приманку почти не идет. Нахал пробирается на гумно хрупать остатки обмолоченных снопов. Русак воровски лезет в сад, где обгрызает кору у яблонь. Иной с осени так прикормится по ночам на капустнике, что остается даже на день спать среди полузамерзших кочерыжек.

Зато русак всегда плотен, толст и часто жирен. Беляк же сложен слабо, мал и худ.

Единственный раз с ночной сидьбы принес я беляка в 10 фунтов, а обычно для белячишки 6 фунтов хороший вес.

Второй сорт заяц беляк.

Русаки в северной полосе редки. Делать нечего. Приходится таскаться за беляками. Лучше плохонький заяц, чем никакого.

Хитрая грамота

Никакой заяц не может скрыть своего следа, но запутать его старается всякий.

Прыгая по снегу, заяц хитрит ужасно. Он возвращается с проложенного им следа и рядом с ним прокладывает другой, иногда третий. Это так называемые «двойки», «тройки». Хитрец переплетает следы. Это петля. Разобрать десяток длинных двоек да три — четыре замысловатые петли — это хоть кого заставит язык высунуть. А тут как раз след исчез. Нет зайца.

Стрелок, неграмотный по-заячьи, осматривается, повесив нос. Как же так? Куда девался заяц? От конца следа до ближайшего куста шагов на десять неприкосновенно чиста снежная белизна. Не улетел же заяц. Все-таки надо посмотреть, нет ли его в кусте. Ах, подлец! Был тут. Вот свежая лёжка, вот взбудный след прыжка, швырнувшего комки снега без всякой осторожности. А дальше опять пошло по-печатному: скок — четыре дырки, скок — еще четыре дырки: две длинных от задних лап впереди, а за ними две коротеньких от передних. Долго шагает стрелок. Снова начинаются двойки, тройки, путаются петли, и опять исчезает след. Вот мучение!.. Опять иди. Будет этому конец? Будет, очень скоро. Короток зимний день. В сумерках уже ничего не видать на снегу. Стрелок уходит домой без зайца.

Заячья грамота очень проста. Охотник, умеющий читать ее не по складам, делает круг там, где много набегано заячьих троп, пересекает одинокий след, идет рядом с ним и смотрит, нет ли в стороне чего-нибудь, куда с закрученной петлей мог бы перемахнуть одним прыжком заяц. Канава, яма, пень гряда хвороста, просто снежная куча — все годится для прикрытия зайца. Ага, следа нет, значит, заяц тут. Значит, он, положив за спину длинные уши, лежит хвостом к своему следу и чутко слушает, не идет ли кто за ним. Ничтожный хруст, малейший шорох с той стороны и — шмыг! Заяц мчится во весь дух. Вот и вся мудрость.

Перехитрить мудреца просто. Охотник заходит ему в лоб. Лопухий дурачок лежит крепко, выскакивает в меру под выстрел. Хлоп и — кончено.

Заячий случай

Крупный заяц-русак поселился в углу поля, утыканного корнями капусты.

Пока кочерыжки не одеревятели от мороза, русак грыз их вдоволь и привык ложиться спать тут же, между грудкой земли и полусгнившим кочнем. На лежку заяц забирался задними лапами так, чтобы голова у него оставалась наружу. Чуткие длинные уши его почти всегда стояли торчком. Изредка, впрочем, они поочередно опускались: вот тут, должно быть, он спал. А то лишь дремал, закатив глаза: закрыть их он не мог, не имея век. И пушистую спину его запорошивало снегом.

Однажды на лесной опушке в зайца стреляли. От ужаса и жгучего толчка в спину он перекувыркнулся, но вскочил и убежал, унося в густой бурой шерсти загривка несколько дробинок, не причинивших ему большого вреда. В другой раз, возвращаясь с отдаленной кормежки, он на дороге, в тумане зимнего утра, чуть-чуть не наскочил на двоих пешеходов. Старик закричал, замахал палкой, а мальчишка за ним, за зайцем, побежал и кинул в него шапкой, что очень страшно, но нисколько не больно.

Заяц заметил все — и выстрел, и шапку.

Когда через капустник вереницей пошли такие с ружьями, русак вскочил и покатил к лесу. Поле тем и хорошо, что на нем издали видна опасность, а спрятаться нужно в лесу.

Русак вбежал в засыпанную снегом опушку. Там все оказалось в смятении. Стайка свистелей, тревожно чиликая, неслась над вершинами. Тетерева, с треском вырываясь из сугроба, один за другим улетали, хлопая крыльями. Зайцы-беляки, мелькая лишь черными глазами и кончиками ушей, торопливо пробирались из глубины леса к полю.

И вдруг в снежной глубине спящего леса что-то загудело, заорало множеством страшных голосов: среди деревьев показались люди. Они кричали, стучали палками. Хотелось бежать от них в тихое поле. Но ведь там эти, с ружьями? Там загремели, резко стуча, выстрелы. Вон кувыркнулся беляк, вот — другой. Тогда опытный русак стремглав понесся прямо на загонщиков. На него кричали, визжали, махали, в него кидали палками, рукавицами, шапками.

А он, зная, что от всего этого ему ничего не будет, удирал, взметывая снежную пыль, в глубину леса.



ЛИСТОПАД

Прежде чем сбросить перед зимним сном свою одежду, пышно раскрашивается, увядая, северный лес.

Ярко рдеют в темной зелени пурпурные кисти рябины. Кисло-горькие ягоды держатся крепко; они провисят долго, в снегу будут висеть, пока не растреплют их крылатые гости.

Прочно зеленеют сосны и ели. Вечно зелены хвойные: они незаметно, исподволь, меняют свои иглы. Ель переодевается заново раз в семь лет.

В бору, во мху болота притаились брусника и клюква. Там невзрачными кустиками торчат вереск, вкусный для рогатых, и багульник, тяжко пахнущий в летний жар. Эти четверо продолжают зеленеть. Они, подобно хвойным, имеют вечно зеленый вид и так же незаметно подменяют свежими свои мелкие листки.

Остальным листьям пришел конец. В ольшняке, в осиннике уже шуршит под ногами бурый ковер, там груды опавших листьев. Откуда, почему? Не было ни морозных утренников, ни очень холодных ночей.

Холода не нужно для гибели листьев. Их губит недостаток влаги. Листья не мерзнут, а сохнут.

В жаркие летние ночи, когда в полном расцвете так роскошно дышит зеленый лес, начинается листопад: чем жарче лето, тем раньше. Листья испаряют воду больше, чем могут им доставить корни своей темной, но вполне понятной работой, и где-то в глубине листвы на внутренних сторонах ветвей начинают морщиться, желтеть и падать наиболее слабые листья.

В северных лесах не слишком редко попадаете ясень. Листовою он очень похож на рябину, а плод у него — такая же летучая сережка, как у клена. Могучее крепкое дерево, ясень сбрасывает свои листья зелеными и свежими. Почему? Это одна из многих загадок листопада.

Липа, тополь, ива начинают терять свои листья с нижних ветвей. Ясень, вяз — наоборот, раздеваются сверху. Отчего? Это также неизвестно.

А что, если нашу березу перенести под тропики, как она там себя поведет?

Пробовано: в теплом и влажном воздухе на тучной почве долго и упорно сохраняет береза обычай родного леса, сбрасывает пожелтевшую листву в то время, как из наших болот к ней, к березе, с криком летят журавли, и одевается береза зеленым пухом, когда от нее, от березы, журавли, радости крича, несутся в северные болота.

Только после многих лет приучается береза к тому, что снега тут не будет никогда, следовательно, можно не раздеваться, не бросать одежды, а менять листья незаметно, стоять вечно зеленой.

Значит, под роскошным солнцем юга всегда в листьях красуются деревья? Совсем нет. Там дерево от палящих лучей спасает свою жизнь тем же, чем на севере защищается против мороза: листопадом. В Индии, на острове Ява, по пять месяцев в году леса стоят безлистыми. Впрочем, там не редки деревья в полном уборе среди совершенно голых. Эти вечно зеленые заметнее, крупнее, чем наша клюква или багульник. Стелющийся у нас по земле, почти ползучий кустарник вереск там вымахивает вверх деревцом метра в три вышиной. В Индии очень обыкновенна яблоня-роза. Она четыре раза в год дает сладкие яблоки с прикусом розы, и в то время, как с одной стороны деревца ветви гнутся

под тяжестью созревающих плодов, а листья облетели по-осеннему, на другой стороне яблони весна: цветы и молодые листья.

На севере диковинок, бросающихся в глаза, нет. «Лесных дел зна-тель», однако, найдет и укажет куст, одновременно сбрасывающий лист и заготавливающий новые листья, куст, по имени челибуха. Но не яблоко — плод странного куста, нет, и не розой пахнет плод, а смертью: это из горьких горький орех, дающий страшный яд, стрихнин.

Каждый год на глазах у бесчисленных поколений повторяется листопад, глубоко, остроумно изучается многими давно листопад и — переполнен загадками до сих пор.

Увядший лист — мертвец, бесспорно. В нем нет ничего, кроме распада, кроме веществ смерти. Но даже тление листа благоуханно. В лесу, где нет ни одной яблони, во время листопада вкусно пахнет яблоком. Палый лист ничем не вызывает отвращения и никогда не пахнет плохо.

В лучшем случае, значит, сухой, сморщенный, жесткий, он никому ни на что не нужен, отживший свой век лист? Нет, он необходим. Из листьев, рассыпавшихся в прах, образуется слой перегноя, запас пищи и питья, источник жизни для всех, кто растет на корнях.

Лист обязан вернуть в почву то, что он у нее взял, вытянул, высосал через корни. Он, палый лист, должен осенью сгнить, чтобы в сиянии весеннего солнца молодыми листьями снова зазеленели, зашептались, задышали вечной свежестью когда-то выпитые им, исчезнувшим листом, неразгаданно-темные соки земли.



У ВОДЫ



ПОХОД

Я, сын военного врача, родился в городе Рыбинске.

Семейное предание гласит, что там денщик, выйдя в сени продуть самовар, бросил этим самоваром в волка. Это было давно. Глухо жили тогда в Рыбинске.

Отца моего переводили часто. Куда меня возили, я в точности не знаю. Клин, Белев, Верея, Гороховец, Кинешма, еще какие-то. Названия городишек мелькают у меня в памяти, но я не помню ясно, в каком что происходило.

Да это и все равно. Все северные захолустья одинаковы.

Жили мы всегда на краю городишка. Везде у нас сад, где точно в снегу стоят весной вишни и яблони, поют и суетятся у своих домиков скворцы. А зимой по следам видно, что в сад лезят зайцы. И везде волки. Я их не вижу, но слышу страшные разговоры о волках.

То тетка Варвара, приносящая по утрам сливки, плачет: ярку у нее утащил волк. Что за ярка? Варвара сквозь слезы смеется:

— Вот дурачок! Что ярка, что овца — все одно.

Мне немножко стыдно, что я не знаю такого пустяка, но я рад: все-таки развеселил старуху, — она уже не плачет.

То поросенка волки зарезали. Как это волки режут? Мне интересно

это узнать, но я уже остерегаюсь спросить, — надеюсь, что как-нибудь это выяснится.

За прокурором волки гнались! Он ехал в возке и на большой дороге попал в волчью стаю: Прокурор всегда с собакой по городу ходил и везде с собой возил свою собаку. Это самая большая собака, какую я только видел; она была выше меня ростом, полосатая, точно тигр. Эту собаку прокурор выкинул из возка волкам. Тогда волки отстали, а он уехал. Собака пропала.

Меня очень возмущал этот рассказ. Подло так отдать собаку на съедение волкам. И какие звери могут съесть такую собачищу?

Зимой мы катались с горы, начинавшейся под окнами прокурора. Бородач часто присаживался к нам на салазки, катился с горы так, что борода развевалась. Давал нам пряники и конфеты, зазывал всю ватагу, с десятком мальчишек, к себе в дом, показывал картинки, вертел ручку аристана. Тогда были такие шарманки. Нам это очень нравилось, — мы подстерегали прокурора, когда он шел домой.

К сожалению, я с ним поссорился.

Фотография его огромной собаки висела на стене.

— Как вам не жалко было бросить собаку волкам! — сказал я, указывая на собачий портрет. — Это правда, что ее волки съели?

— Правда, съели, — сердито ответил прокурор. — Только ты, значит, негодяй: сплетни собираешь. Пошел вон и больше ко мне не ходи! Я не понял, в чем провинился. Что я собирал, что такое сплетни? Но очень обиделся.

Произошло это в губернском городе Владимире.

Этот город я помню ясно во всех подробностях: на высокой горе собор, под горой Клязьма извивается по зеленому лугу и уходит в лес.

Городские дома на больших плоских холмах, а между холмами вишневые сады.

Приехали в наш дом мы ночью на колесах, а утром смотрю в окна — кругом и вдали все кусты снегом осыпаны. Это не снег, а вишни цветут.

Под окном два оборванца в гимназических фуражках обломком грязной лопаты поочередно копаются, проводя в канавки снеговую воду. Я очень люблю это делать и так поспешил к новому знакомству, что выскочил из дома с оставшейся от чая плюшкой в руках.

Оборванцы — гимназисты, застарелые второгодники. Они «просидели» уже в приготовительном классе, теперь, кажется, засядут в первом. О своей гимназии они самого низкого мнения. Там все подлецы.

Как жалко! Я еще только мечтаю попасть туда.

Тот, что поменьше, худой и черный, — Митька Делов. Другой, толстый и красный, — Степка Надеждин.

Впрочем, оба ругаются ужасно скверно и, одолжив мне на минутку свою лопатку, по-братски доели мою плюшку.

Они важничают тем, что много старше меня, но все-таки согласны принять меня в свою компанию.

— Пирог у вас пеки? — осведомился Степка.

— Нет, мы только вчера приехали.
— Ну, будут печь. Ты принеси. Мы тебя в экспедицию возьмем.
— Это как в экспедицию?
— Исток реки пойдем исследовать.
— На Клязьму?
— Нет, туда на лодке ездим. По Лыбеди пойдем.
— В калошах?
— Разве путешественники бывают в калошах?
— Тогда вода теплая будет, — объяснил Митька, — без сапог. Реки вброд переходить будем.

Я слушал почтительно, даже со страхом. Вон как! Об этом походе по воде босиком я еще в первый раз слышу.

Экспедиция выступила.

С не исчезнувшей до сих пор завистью я вынужден признать, что замечательных жуков поймал Митька.

Он, засучив штанишки, весело шлепал по воде почти до колен, нес сачок для ловли, как он объяснял, рыбы и всего, что попадется.

За ним в таком же виде шагал его неизменный спутник, помощник и друг Степка с одностовкой за плечами. К ружьишку зарядов не имелось, и выстрелить, очевидно, было нельзя, но все-таки Степка имел очень гордый вид.

Я шел как подчиненное лицо, с ведерком, но без штанишек на их обычном месте. Мои совсем не были приспособлены к такого рода предприятиям, они так путались, намокали и мешали, что я их снял, свернул и привязал на спину. Совсем тюк с поклажей, как удостоверили опытные путешественники.

Экспедиция направлялась исследовать речонку, обтекавшую город. Она повторялась много раз, но так и не выяснила, куда впадала речонка. Это оказалось к лучшему: осталась возможность предполагать, что по мере приближения к устью речонка вырастает в огромную реку, населенную чуть ли не крокодилами.

Из-за холмов, покрытых вишневыми садами, выглядывал огненный круг солнца. Птичья мелочь, перелетая, перепрыгивая, наперебой распевала в кустах. Речонка, заваленная хламом, пока текла у домов, за городом бежала чистая и прозрачная по крепкому песчаному дну в цветущих берегах.

Какие коромысла неслись над осокой, осыпанной каплями росы! Синие, полосатые, каждое на четырех прозрачных крыльях.

— Цсик-цсик!

Это они крыльями издают такой звук или так кричат?

Бродяги при всех их познаниях объяснить этого не могли, но показывали интересный опыт. Если такому коромыслу, схваченному за крылья, подсунуть обыкновенную муху, то коромысло ее очень скоро и просто проглатывает, выплюнув, впрочем, крылья. Муху рыжую, мясную, или слепня, пристающего к мальчишкам во время купанья, коромысло не ест.

— Почему?

— Ну, глупый вопрос. Не нравится, потому и не ест.

— А коромысло — это муха или жук?

— Нет, это стрекоза.

— Не может быть. Про стрекозу сказано: к муравью подзет она. А коромысло никогда не ползает, оно или покачивается на травинке, или летит и делает крыльями так: цсик-цсик. Стрекозы, должно быть, там, на лугу. Это они сидят в траве и стрекочут.

— Ну как же ты не понимаешь? На лугу кузнечики. Это совсем другое дело. Чепуху все болтаешь. И... и... и... Ах ты, где же лягушата? Выпустил, разиня? Вот тебе!

Подзатыльник дал Степка носителю ведерка.

Я клялся, что никакого недосмотра не было. Но и Митька сухо пригрозил, что меня больше не возьмут ни в какую экспедицию. Зевак и разиня тут не нужно.

Это было так ужасно, что я всплакнул.

Лягушат, вместо двух исчезнувших, поймали трех новых, бледно-зеленых на белой подкладке. Я опять нес ведро, охраняя прикрывавшую его тряпку всеми силами моего существа.

О, ужас! При остановке заглянул в ведро, а лягушат там опять нет.

Я уже готовился принять побои, позор изгнания, но в отчаянии осмотрел ведро и закричал:

— Да я не виноват совсем! Это жуки сожрали лягушат.

Два огромных, черных, рогатых жука величиной с самого крупного черного таракана как ни в чем не бывало ползали по дну ведерка. У одного жука изо рта торчала лягушечья лапа.

Что это за жуки? Жевали они лягушат или глотали целиком?



УТЯТНИЦА

Стадо брело, разбрызгивая воду, по гати — широкому грязному прогону у берега озера.

— Дяденька Егор, — закричал подпасок, мальчик лет семи, — глянька, опять с лужи крякуша полетела! Она тут живет, что ли?

Старый седой пастух не торопясь взял в жесткие пальцы мягкое ухо мальчишки, слегка потрепал его и сказал:

— Гнездо у нее тут. Баловник ты, Никитка. Видишь, ягненок завяз. Твое дело за скотиной смотреть, а не за утками. Я тебя!

Никитка слазил по грязи, помог ягненку выкарабкаться, но утиного дела оставить так не мог. Гнездо? Вот штука! Там должны быть яйца, надо посмотреть.

Солнышко поднялось на полдень, стадо улеглось у озера, и дядя Егор задремал. Никитка пробрался к знакомой луже. Но вышло совсем не то, что он думал. Утка не сидела в гнезде, а плавала среди лужи, окруженная выводком. С десяток темно-зеленых пуховых утят плыли между листьями кувшинок. Вот чудно-то!

Увидев проползшего по кочкам мальчишку, утка крикнула тревожно, пуховые комочки закувыркались вокруг нее, ныряя, побежали по воде, а утка, злобно крича, кинулась на врага. Она хлопала мальчишку крыльями по голове и норовила клюнуть в лицо.

— Да ты что? — орал Никитка, отмахиваясь кулаками. — Ты чего, дура, дерешься? Не трогал я твоих маленьких! Ой, ай, дядя Егор, караул!

Кое-как отбившись от рассерженной птицы, Никитка выбрался из лужи и во весь дух прибежал к стаду.

Ничего, все спокойно. Пастух спал так крепко, что даже трубку из рта выронил в потухший костер.

Никитка поднял трубку, подбросил на уголья веток; про драку с уткой ничего не сказал.

Утром Никитка опять пробрался к луже — с другого, с узкого, заросшего кустами конца: там утка его не увидит. Кому понравится, если по голове бьют! А на утят посмотреть всем интересно.

Душно пахли болотные травы, блестела среди зелени вода, и в недвижимом зное полдня над кустами маленький кобчик злобно, тонко кричал: кли-кли-кли! Утиный выводок плавал в тишине. Вдруг что-то темное длинное взметнулось среди стайки утят. Они с писком брызнули в разные стороны. Утка закричала, нырнула, высочила из воды, взлетела чуть-чуть, опять бросилась на воду с отчаянным криком.

Никитка убежал. На берегу озера у стада пастух варил картошку. Он посмотрел на своего помощника сердито. Пришлось рассказать ему непонятное происшествие.

— Сцапала, значит, воровка, утенка схватила, — объяснил Егор, снимая котелок с огня. — Садись, ешь. Да. Придется мне, Никитка, тебя высечь, потому не шлйся. Да!

Он, однако, только попугал, не высек, даже не ругался больше. Но как же так? Кто ворует утят? Утка чего смотрит, не заступает? Что у них там делается в луже?

Занятно так, что терпения нет. И Никитка за ужином в избе рассказал все: как подсмотрел он выводок, как била его утка, что произошло на другой день.

— Вот что, малый, — сказал приезжий из города, снимавший у них комнату на лето, — ты сведи-ка меня на ту лужу. Уж я до утиной воровки доберусь. С Егором я переговорю, он тебя отпустит.

Опять сияло в безоблачном небе солнце, благоухали в болоте росистые травы, и кобчик кричал пискливым голодным голосом. В узком краю лужи, между кочками, рядом с мальчиком, притаился большой человек с ружьем. Утята плавали около утки в привычной тишине. Никитка смотрел на них, не спуская глаз, и видел, как из воды высунулась длинная узкая морда. Он хотел закричать, но в этот миг громом ударило над его головой. Вода взметнулась столбом в брызгах. Утка, утята куда-то исчезли, среди лужи кувыркалось, билось, хлестало что-то длинное, белое, черное.

— Вот тебе, утятница, чтоб крепче было! — кричал стрелок и выстрелил еще раз.

Он срезал несколько прутьев, связал их бечевками, на конце из сучка сделал крючок и, спустив прутья по воде, зацепил и вытащил на берег огромную зубастую шуку с белым брюхом и черной спиной.

Утинового выводка на другой день на луже Никитка не нашел: старая кряква увела утят в более спокойное место.



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ

В именины отца, зная, какой, кроме всего прочего, пирог пекут по случаю такого торжества, я твердо обещал вернуться к обеду.

Но едва нос моего ботника поравнялся у водокачки с песчаной кой, всегда пустынной, прозвенел серебристый крик:

«Курли, курли!»

В тумане утренней зари мне не видать, кто кричит. Я только слышу, как сверлят воздух удивительные трели, а сердце в восторге стучит: «Это большущий кулик. Как! Здесь, почти в городе? Почему, зачем?»

Образованный кулик, из «настреканной» городскими стрелками дичи. Неизвестно, какие понятия в его длинноносой голове, но ясно, что он твердо знает: лодку близко к себе пускать нельзя.

«Курли, курли!»

Кулик снялся с косы, перелетел на отмель у другого берега; я переплыл за ним — и началось!

Мелькают над рекой широкие крылья, несется насмешливо-серебристый заливистый крик, а по реке будоражит воду, торопясь от берега к берегу, ботничок.

Дунул ветер, разлетелась дымка тумана, ударили в пену волн солнечные лучи. Облака, вода, песок — все озарилось розовым светом. Мне отчетливо видно, как по мелкой воде быстро бежит красавец-кулик, а рядом с ним, дрожа в блестящем зеркале, несется его изображение. Что за дивный вид!

Бац! Не стерпел, запалил. Куда там! Не долетела дробь, — по брызгам видно. Поднялся и опять сверлит свое:

«Курли, курли!»

Причудливо извивается по лугам Клязьма, в каждой извилине один берег крутой, другой — песчаный, плоский, и на каждой отмели повторяется представление.

Я осторожно, не размахивая веслом, подъезжаю. Кулик разгуливает по песку вполне свободно, поклевывает какую-то дрянь — что же хорошее может быть на отмели? — и, подпустив меня, насколько находит нужным, улетает с веселым криком.

Сколько раз переправились мы через реку — кулик на крыльях, я на ботнике? Почему я знаю? Не считал же я всех кривляний Клязьмы.

Но жарко стало. На отмели стадо. Коровы лежат на песке, другие забрели в воду по брюхо и тупо glareют на меня, шумно пыхтят, когда я плыву, чуть ли не хлопая веслом по рогатым мордам. Значит, полдень? Ну, ничего, следующая отмель недалеко. Кулик уже там.

Тут я замечаю, что проклятый длиннонос много лучше меня проводит время. Он стоит иногда на одной ноге, бегаёт туда и сюда, что-то подбирает в свой кривой клюв и, закинув голову, должно быть, глотает. Я какой-то куклой согнулся на корме лодчонки, гребу, как каторжник, и есть мне нечего.

Я, в твердом расчете на праздничный обед, не взял с собой даже чайника. В носу ботника лежит только ружье.

Добычи у меня пока никакой, а насчет зарядов как дела? Плохо. Сколько раз мимо запалил, лучше не считать, а осталось еще вот раз, два...

Стой! Что такое? Для чего, почему таким кренделем скрючился кулик? Закинул за ногу, да, да, за ногу зацепил длинный свой нос и так затылком вниз стоит в воде. Ба! Да это он пьет так. Иначе не зачерпнуть ему воды в свою кривульку. Я все понять не мог, как кулики пропускают в горло воду с этими-то носами. А теперь понял, понял! Бац!

Опять не удержался, запалил. И опять то же с лазерной вышины:

«Курли, курли!»

Ну, едем! Устанет же он когда-нибудь?

Н-да. Четвертый час дня, не меньше. Теперь там обедают. Паштет — круглый, высокий, огромный пирог из слоеного теста. В начинку кладут

куски тетеревей, рябчиков. Вот куликов не кладут. Поди-ка поймай под-леца. А следовало бы класть негодяев. Бац!

Опять мимо. Курятина также там в волшебном пироге, тоже вкусно. Ну, одну бы сюда самую плохонькую курочку! А? Просто ужас до чего есть хочется. Что уж там курица, хоть бы хлеба кусок.

Ай, ай! Соус подадут к паштету страшный, жгучий, с каким-то особенным перцем, что ли, у-у, какой соус!

При одном воспоминании о нем голодного человека крЮчит, судороги в животе схватывают.

А, ты так? Опять «курли»? Вот тебе. Бац! Опять ничего, тьфу!

Ну, вот. Дубки проехали. Ехал-то, конечно, я — он летел.

У него крылья, должно быть, железные. У меня руки и спина одеревенели. Но отстать не могу. Я доеду.

Однако не начал ли он подпускать поближе? Мне стало видно, что клюв и лапы у него красные. О, счастье! Это красноножка — редкость, мечта, восторг охотника. Упустить? Да ни за что в мире. Бац! Тьфу! Опять «курли».

Это что? Вон куда приехали. Куликов бор. Сосны стоят на высоком берегу. Красный свет погасающего солнца горит на их стволах. За лесом колокольчик тонко, ясно звенит: динь, динь, динь! Там большая дорога. Кто, куда там едет на тройке?

Не знаю. А вот тут бедный человек со вчерашнего дня ничего не ел, измучился в ботнике. И откуда-то сверху издали ему кулик кричит:

«Курли, пошел домой, курли, курли!»

Больше не видать ругателя, насмешника-кулика в посеревшей, потемневшей вышине.

Ночь наступила, жаркая, благоуханная ночь цветущих в речной пойме трав, душная ночь комариных жужжаний, короткая летняя ночь, но все-таки ночь. Почти темно.

Ничего нет поесть. Огонька не развести, — даже спичек не захватил. Бедняжка мама! Как беспокоится, куда пропал охотник. Влетит за от-лучку в торжественный день. Паштет прогулял, кулик исчез. Ух, плохо!

Ботник я оставил под обрывом крутого берега и, захватив с собой ружье, как был, так и повалился на остатки сухой травы под кустом.

Сладок сон после целого дня погони. Но комары не дают спать. Мне кажется, что я проснулся в тот же миг, как задремал.

Солнце брызжет золотом в зеркало реки, клубы тумана, точно обрывки кисей, летят в лазурную вышину. Здравствуй, утро!

Откуда-то издали звенит знакомое «курли».

Нет, голубчик, довольно. По-видимому, еще на два поворота Клязьмы вперед забрался, мучитель. Опять туда грести? Кроме всего прочего, далеко ехать-то не с чем: один заряд в ружье.

«Курли, курли!»

Это что же? Уже яснее слышна серебристая трель.

Да, никаких сомнений! Вон он обратно летит, спокойно свесив свой длинный нос. Не видит под обрывом надоевшего ему ботника, ни меня

за кустом? Решил, что отвязались, наконец, от него враги? Зачем вернулся?

Ну, как узнать, что думает кулик, размахивая крыльями в сиянии утра над сверкающей рекой! А летит близко, плавно.

Я выстрелил ему навстречу. Он свернулся и безжизненным комком перьев упал на зеркало воды. Он, он, воспетый Аксаковым несравненный красавец, он, красноножка, он же, щеголь!

Труден обратный путь по бесчисленным скучно-пустым теперь извивам реки.

Дома встреча по заслугам.

— Обманщик, бродяга, невежа! Его ждут, о нем беспокоятся, извозчика в пойму посылали искать. Да разве такого найдешь? Бесстыдник.

Ну что возразить? Верно. И подзатыльников дано два. Опять правильно: есть за что.

Я до сих пор оскорблен страшно. Упреками, шлепком?

Совсем не то. Нет, я гордо предъявил свою добычу. Роскошно-пестрый кулик на высоких красных лапах, с длинным красным носом — и никто никакого внимания.

Вот что обидно.



ВОДЯНАЯ ПУСТЫНЯ

Старица — древнее русло реки. Тысячи лет назад тут быстро бежала Клязьма. Теперь это длинное, причудливо изогнутое озеро в болотистых, почти везде недоступных берегах. Пешеходу на Старицу можно только издали посмотреть и увидеть там широкие листья кувшинок, — пройти к ним нельзя: глубоко, топко. А на лодке не проехать: заросли мешают.

В моем владении Старица! В ее затишье я проникаю, когда хочу. С весны, пока воды в Клязьме еще много, я очень бойко выезжаю из реки на ботнике. Когда проток обсохнет, ботничок попадает в Старицу значительно медленнее. Я раздеваюсь, вылезая в грязь и волоку до крайности облегченную лодчонку почти посуху.

Это довольно долгая и трудная возня. Но прежде чем пуститься

в путь по Старице, я купаюсь тут же в быстрых струях Клязьмы — и вознагражден вполне.

Унылая с виду, залитая стоячей водой пустошь населена с весны густо, поет множеством странных голосов и показывает удивительные зрелища.

— Чьи вы, чьи вы? — несется с берега плаксивый крик.

Две темные птицы с голубя величиной странно кувыркаются на коротких крыльях. Несомненно, птицы эти очень любопытны.

Они летят посмотреть, что такое пробирается по зарослям старицы.

А это знакомый ботничок, и в нем известно кто.

Птицы, конечно, не говорят, но их протяжный крик очень похож на звук тех слов:

— Чьи вы, чьи вы?

Это пигалицы, или чибисы, коротконосые кулики. У каждого из них на затылке косица из перьев. Сидящий на земле чибис всегда имеет такой вид, как будто очень чему-то удивился.

Зовут чибисов также луговками. Они свои гнезда устраивают в сухом болоте на лугу. Едва обтают кочки, там, на высоком берегу, легко найти гнездо чибисов: ямка, прикрытая пожелтевшими стеблями старой осоки, и в ямке чибисята, всегда четверо, как уголь, черные. При виде врага чибисята быстро удирают. Но если чибисенка поймать, то пуховый птенец лежит на ладони смирно и очень смешно притворяется мертвым. Не шевелится ничуть, глаза закрывает, взглянет чуть-чуть и опять зажмурится. А сердчишко так и дрожит: «стук, стук, стук». Ничего! Отпущенный на волю, такой мертвец стремглав бежит в родимые кочки.

Старики-чиби́сы налетают тут уж не из любопытства, а с угрозой. Побить хотят ненавистного посетителя, утащившего птенца. Но туп короткий нос, слабы маленькие когти. Нечем ни клюнуть, ни цапнуть. Остается, кувыркаясь в воздухе, повторять плаксивое:

«Чьи вы?»

Днем и ночью в болоте всю весну яростно кричит коростель:

«Дерр, дерр, дерр!»

За это зовут его дергачом. Дергачиха тоже бледно-рыжая, как и коростель. Различить их трудно. Тот и другая одинаково похожи на маленькую желтенькую курицу. А птенцы у них черные, как уголь, и проворно шныряют между стеблями, точно мыши.

В тот час, когда солнце свалится за край земли и красные полосы зари странным светом наполнят темную стоячую воду, дупеля устраивают бал.

Дупель такой же длинноносый кулик, как и бекас, только покрупнее. Живет там же, ест то же, а токует по-другому.

Токующий всегда в одиночку, бекас взлетает чуть ли не под облака, оттуда на неподвижно распушенных крыльях бросается вниз, и растопыренные перья его хвоста, дрожа в стремительном спуске, дают странный звук, очень похожий на бляение ягненка.

Дупеля в вышину не взлетают, хвостами не дребезжат, а собираются

стаей на косу песчаной грязи, у стоячей воды в затишье глухого болота. Тут они выстраиваются в два ряда и молча пляшут: кланяются, подпрыгивают. Потом беготня, потом драка — и добродушные долгоносики щиплются так, что после дупелиного бала на песке всегда окровавленные перья валяются.

Конечно, запалить в стаю дупелей очень просто, но я никогда этого не делал. Я не был жаден на добычу.

Первый раз в жизни я сидел в шалаше из старых ветвей на тетеревином току. Так тетерке не нашлось другого места, как усесться на сучья моей засады. Стволom ружья я сквозь хворост шалаша мог ткнуть глупую курицу. Нет, у меня даже мысли о том не мелькнуло, чтобы положить тетерку в сумку. Я только смотрел и слушал: в двух шагах от меня настоящая дикая лесная птица, она меня не видит, тихонько кудахчет и, как-то странно разевая клюв, сопит. Вот замечательно. Тетерка пококала, переступая лапами, побряхтела, вытягивая шею, и унеслась, не подозревая, как близка была к смерти.

Тетеревиный ток, конечно, разыгрался на лесной полянке.

В старице же представился мне случай выстрелить по замечательной добыче; я не выстрелил — и вспоминаю о том с наслаждением.

В охотничьем дневнике моем записано: «В конце старицы взлетело шесть удивительных птиц, покрупней, чем кряквы. Золотые гуси! Они затрубили негромко, точно в деревянные рожки, и улетели. Недалеко поднялись, я мог стрелять, но не стрелял: уж очень хорошо было».

Ну, убил бы. Ну, принес бы домой утку. Ну, зажарили бы и съели — вот и все. А тут запись: «Не стрелял: уж очень хорошо было».

Это светит через всю жизнь лучше, чем какое бы то ни было жаркое.

На всем протяжении старицы по берегам кое-где проложены охотниками тропы, — трудно, но все-таки можно подобраться к открытой воде. Но последний отрог давно заброшенной реки погибает к лесу в непроходимой трясине, мягкие подушки берегов тонут при попытке ступить на них, а для того, чтобы проникнуть на узкую полосу воды в ботничке, надо три раза перетаскивать его по грязи возникающих перешейков. Я тащил. В смутной надежде, не знаю на какие находки и открытия, волочил лодку, пачкался до ушей и неожиданно получил награду.

В медленном, неслышном движении ботничок почти наехал на плавающую кочку. Все неподвижно, все молчит в палящем зное полдня; только где-то далеко на лугу стрекочут кузнечики.

Однако на кочке птица, крупная, серая, нос острый, а морда толстая, с хохлом. Спит стоя, что ли? Замечательно странно, как будто на хвосте стоит, брюхо белое, длинное.

Что за раскоряка?

Птица меня увидела, встрепенулась, но не улетела, а, распутив крылья, проворно легла на кочку, затрепыхалась, приподнялась на лапы, держа под каждым крылом по черному птенцу, кинулась в воду и исчезла.

Вот дура, утопит своих маленьких! Ну-ка, где вынырнет?

Вдруг из зеркала воды высунулся острый клюв, рядом с ним две черные точки, — значит, еще два носа. И все это живо понеслось от меня.

На кочке грудка прошлогодней осоки. Все выпачкано, как в курятнике, и пахнет отвратительно.

Но среди обрывков сухой травы яйцо, крупное, больше куриного, длинное, остроносое, в зеленых, почти черных пятнах. Я взял его.

— Это все? — спрашивали дома. — Вот так яичко. Гадость какая-то; есть его нельзя. Это вся добыча?

— Вся, больше ничего нет.

— Так стоит ли целый день валандаться в грязи из-за дряни?

Я сердито молчал.

Стоит. Это не дрянь. Вот не стоит рассказывать о плавании ботничка. Ну, разве они там что-нибудь понимают? А человек может быть счастливым, увидя, как противная птица гагара удирает под водой, держа под крыльями своих птенцов.



В КАМНЯХ ПОТОКА

— Эй, Филька, ты что ж, братец? Обещал рыбы наловить, а сам мимо бегаешь! Забыл, что ли?

Шапки Филька не носит вовсе, на ногах у него самодельная обувь — что-то из тряпок, кожи, бечевки. Он оборванец вполне, но всегда смеется.

— Делов много, — жалуется он, ухмыляясь, — замучился. Все посылают, а я один. Ну, идем!

— Как же так? Удочку, сетку, корзинку, тряпку какую-нибудь?

— Ничего не нужно. Сказано, руками ловить будем.

Что за чепуха? Самая осторожная, чуткая, зоркая, хитрая рыба форель, а он говорит: руками. Врет, жулик-мальчишка.

Мы идем. Нет, Филька прыгает, скачет, как козел, с уступа на уступ, а я ползу, тащусь, часто обрушиваюсь, сталкивая крупные, осыпая мелкие камни. Они летят, шурша, стуча, и замолкают, исчезают. Где? А вот

мы туда, за ними, по кручам, между кустами, пнями, каменными глыбами, провалами, деревьями, в какой-то знойной мгле. Цветы висят, стоят, качаются. Пахнет дивно. Но до цветов ли тут? Того и гляди поскользнешься, полетишь. Могучий клекот слышится в вышине, и огромная черная птица плавно реет над ущельем. Видны острые концы неподвижно распушенных крыльев, хищно втянутая в шею голова.

— Гриф, — объясняет Филька, — у нас такой в клетке сидит. Злой, черт. Недавно вот такому приезжему штаны разорвал.

— Дразнил, что ли?

— Погладить хотел. Руку-то успел отнять, а то сломал бы. Силища страшная. Сверху донизу штанину на клочки как дернул. Дохлого барана унесет, а живого мышонка не трогает. Чудно.

— Долго ли лезть-то? Надоело.

— Еще один обрыв. Близо.

Крымский горный поток летом неглубок. Местами толщиной лишь с ладонь, дрожит над камнями дна прозрачное стекло воды, но шумно бегут, плещут, пенятся быстрые струи. Они холодны как лед. С наслаждением вступаешь в них после лазанья по жарким кручам, но шагов пять — шесть — и уже хочется выскочить из воды: стынут, кажется, что замерзают ноги.

— Где же рыба? Ничего нет. Да и не в чем ей здесь водиться.

— Погоди, не сразу. Сейчас найдем.

Я надеваю сапоги, иду по берегу. Филька прыгает и по сухим камням и по воде; его нисколько не заботит, что обувь собственного изделия давно промокла.

— Вон под этим камнем! — вдруг указывает он. — Видишь, такой с мохом, там должна быть.

— Почему?

— Так. Я уж знаю. Стой!

Точно кусок пожелтевшего сахара, лежит в воде закругленный с одного конца камень, и зеленые толстые мохнатые нитки треплются вокруг него в быстром течении.

— Здорбв. Одному не своротить. Помогай!

Опять сняв сапоги, я упираюсь в камень, и в тот миг, как он тяжело отваливается, открыв замутившееся углубление, оттуда, из ямки, служившей убежищем, стремительно выносятся три рыбки и проворно бегут в прозрачной воде. Видны красные пятна их серебристой одежды, большие глаза несоразмерно маленькой головы. Форель, несомненно, красавица форель!

Я бегу, как попало шлепая по воде, и холодные брызги обдают меня всего.

— Ничего так не будет! — кричит Филька. — Не поймать так! Не бойся, — лучше найдем, большую.

Когда-то, очень давно, кто-то строил тут мост. А может быть, крепость, башню. Седым мохом, серыми, зелеными пятнами лишаев обросла каменная кладка; кое-где она обвалилась. Для поддержки рассыпаю-

шихся камней или еще для чего-то около столбов забор, плетень, переплет из прутьев. Тут ямы — дна не видать, воды много, и она бурлит, пробиваясь сквозь связанные ветви.

Филька, запустив руку до плеча, шарит в этом почти плавающем хворосте. Лицо его синее, выпученные глаза восторженно блестят.

— Во! Во! — бормочет он, пуская пузыри, захлебываясь. — Здоровенная. Прячется, скользкая, ну да ладно. Во!

Крупная, роскошная рыба, извиваясь, трепещет у него в руках. Он мокр насквозь, он дрожит, но хохочет во всю глотку:

— Держи! Видал? А ты говоришь: рыбы нет. Ха-ха!

Форель раскрывает рот, бьется, сильно дергается у меня в руках. Я люблюсь прелестной добычей и вдруг вспоминаю:

— Филька, на что мне она? Ни варить, ни жарить. Ведь ловля рыбы запрещена в заповеднике. Ты не придавил ее? Что, если пустить назад в воду, а?

— Ничего ей не сделалось, — медленно отвечал рыбак, — пускай!

Форель, на миг сверкнув, скрылась в кипящей, бурливой глубине около камней. Филька сердито уставился на меня.

— Вот, гражданин, маху-то дали. Я ведь думал, что у вас разрешение есть.

Мы мрачно полезли кверху среди раскаленных камней. Филька скоро согрелся, обсох. Стоя на пыльной каменной дороге, он подмигнул, глядя на впадину между гор, где в глубине чуть слышно журчал поток, и по-прежнему весело рассмеялся.

— В другой раз зайди-ка ты в канцелярию, возьми бумажку. А я еще и не такую форель поймаю, лучше: большущую.



НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

Настает лучшая пора ловить рыбу. Очень многие пионеры идут в лагерь с надеждами на рыбную ловлю, но без всяких к ней приготовлений. Это ошибка. Надо заранее обсудить, выяснить, что за вода около лагеря. Река, озеро, пруд, взморье? В какую погоду, где, в какой час дня и ночи, какую рыбу и на какую насадку надо ловить? Нельзя ли половить бреднем, не пригодятся ли подпуск и перемет?

Это бечевка метров в пятьдесят с полсотней крючков. На одном конце подпуска плавают пробка, а другой конец с гирей опускается на дно. Подпуск ставится по течению реки, а перемет — поперек течения. На перемете поплавок нет.

Надо собрать товарищей, посоветоваться. У кого что есть в запасе из снастей? Кто где заготовит какие насадки? Не достанет ли кто лодку?

Рыба очень чутко слышит. Ее ловить надо в тишине и молчании. Удильщик почти всегда сидит одиноко. Но при сборах на рыбную ловлю общественный совет необходим.

Рыбак, явившийся на берег с неподходящими снастями, в бесклевное время, с негодной приманкой, такой рыбак, наверное, уйдет без рыбы.

Подпуск, перемет, бредень для рыболова-одиночки дороги. Для артели же рыбаков это расход пустой.

Начинается ловля всегда с уклейки. Уклейка клюет на кусочек червяка, на обрывок мухи, на крошку хлеба, даже на белую щепочку. Щепки она, конечно, не ест, но все-таки толкает ее носом. Уклейка хватает в тот миг, как приманка падает в воду. В этот миг и надо подсекать. Как затрепещет на крючке рыба, сразу поймет рыболов, как делается подсекка. Надо дергать удочку резко вбок.

Ерш и мелкий окунь научат рыбака, как надо подсекать. Они заглатывают насадку и дергают леску: самый вялый ротозей сообразит, что пора тащить.

Конечно, на удочку ведра мелочи не наловить. Тут нужен подпуск.

Подпуск — снасть на крупную рыбу: на леща, на язя, на окуня. Но часто ерш глотает насадки, приготовленные не для него. Крючок он заглатывает глубоко. Этакая досада! Снимай тут их, ершей, навешавшихся вместо хорошей рыбы.

Окунь иногда весит килограмм. Для такого хищника нужна лакомая приманка — рыба, линючий рак, даже лягушонок. А все-таки иногда великан-окунь схватит и простого червяка. Берет окунь сильно, грубо, без хитрости и осторожности. Он очень любит уклейку, хватается ее живую и мертвую.

Щука ничего мертвого не ест никогда; она берет только на живца. Если поставить рядом три живцовых удочки, одну с пескарем, другую с уклейкой, третью с плотичкой, то на пескаря щука хватит, иногда возьмет плотву, а уклейка почти всегда останется нетронутой. Линя, как ни ставь, щука никогда даже не тронет. Окунь ест, кажется, все, а линя тоже не трогает ни в каком случае. Почему? Неизвестно.

Пескаря есть любят все. Выловленный на удочку пескарь скоро засыпает. Для живцов лучше ловить пескарей бутылкой. Затыкают бутылку пробкой, а в вогнутом дне бутылки просверливают такую дырку, чтобы мог пролезть пескарь. Такую просверленную бутылку кладут в воду пробкой вверх по течению. Пескари для чего-то заходят в бутылку, а выйти не могут. Получаются самые лучшие, бойкие живцы.

Впрочем, хищников, хватающих живую рыбку, интереснее и проще, чем на живца, ловить на блесну.

Рыбак плывет в лодке, тянет за собой леску с блестящей приманкой на конце. Лосось и форель, щука, окунь, судак жадно кидаются на такую приманку.

Осторожно подтягивай, рыбак, к борту лодки сильную рыбу, внимательно подводи! Ни на миг не ослабляй леску, но и не дергай. Держи твердо, упорно. Старайся утомить рыбу и бережно вычерпывай сачком, никогда не хватай руками.

Огромного леща можно поймать на красного навозного червяка, на одно овсяное зерно, на распаренную горошину. На кузнечика клюет голавль с оранжевыми плавниками, с синим хвостом.

Иногда даже удочка дает неплохую добычу. А подпуск, перемет и в особенности бредень, кроме забавы, могут доставить существенную помощь. Например, при бредне большой котел превосходной ухи обеспечен всегда.

И вот отряд пионеров рассаживается у костров на берегу.

Положили лук в котел? Эх, простофили, забыли взять пяток луковиц. Какая же уха без лука? Ну да ладно. Картофель очистили? Нарезали? Эй, повара, кухарки, не пересолите, не переварите! Вскипела уха? Готовь чашки, плошки. Не теснитесь, товарищи, всем хватит!

Хорошо, если тут же на берегу прямо с крючка, из сети да в котел идет рыба. А если от места ловли до костра ее нести надо километров пять? В жаркую погоду испортится добыча у неумелого рыбака.

Пойманную рыбу нужно держать в воде или же тщательно закрыть, завернуть в мокрую траву, в тряпку, в бумагу; ни на миг не пускать к рыбе муху. Тогда рыба может прождать часа три — четыре до отправки. Лини, караси очень живучи. Этих толстяков, пойманных сетью, можно в корзине с мокрой травой часа четыре живьем нести. Крупную рыбу других пород в течение жаркого летнего дня сохраняют разными способами: закапывают в землю, солят. Иначе не донести домой, пропадет рыба.



УКЛЕЙКА

Там, где блестит мало-мальски чистая и хотя бы слегка проточная вода, везде водится маленькая серебристая рыбка. Она стаями резвится у самой поверхности, за что кое-где ее зовут верхоплавкой, верхоглядкой; иногда называют ее синякой — есть в ней какой-то лазурный отблеск, когда она живо-живо бежит в воде, пронизанной лучами солнца.

Это уклейка. Почему она так, уклейкой, называется, понять нельзя.

Какой там клей! Признаков жира в ней нет, никакого вкуса, даже рыбьего запаха мало. Говорят, будто бы в продаже встречается копченая уклейка. Некопченую уклейку едят — не знаю, в каком виде — только в тех местностях, где нет совсем никакой рыбы. Туда привозят ее с Ильмена и с Ладоги, где она валом валит, где ловят ее пудов по тридцать — сорок, в тую мелкочечного невода (сшивки). В безрыбных местах меняют ее на хлеб: там, на безрыбье, ее съедят. Обычно же и кошка уклейкой брезгает.

Никуда не годится уклейка? Дрянь, значит, она, не стоит ее ловить? О нет! Уклейка будит в человеке рыбацкую страсть, милейшей рыбке посвящается первый трепет охотничьего сердца. Переживая шестую — седьмую весну своей жизни, рыбак, идя на ловлю, мысли не имеет о том, что он свою добычу будет есть. Он мечтает лишь, как бы поймать, и уклейка скорее всех клонет на его бесхитростную удочку. Крючок и нитка... вот вся снасть! На живую муху, дрыгающую лапками, уклейки кидаются стаей. Мертвая муха, половина мухи? Ничего, давай сюда. Обрывок червяка, сухая крошка хлеба, щепочка. Тюк! Точно клевок стрелочной птички дергает за приманку, и серебристый воришка светлой стрелкой несется в темноту глубины, через миг, сверкая, появляется вновь, опять клует и опять удирает.

Щепки уклейка, конечно, не ест. Но если щепочка светлая, уклейка все-таки ее клонет раз и больше не трогает. Хлебную крошку стайка уклек гоняет и щиплет не особенно охотно. На муху же, на одну муху можно выловить десяток уклек. Пожалуй, проще насаживать каждый раз свежую муху. Разве уж такая драгоценность муха? Не в том дело, мух много. Рыбак, идущий на ловлю именно уклейки, конечно, несет достаточный запас насадки, любимой его рыбой; у такого рыбака имеется пузырек, коробочка, жестянка из-под ваксы, где смутно копошится множество мух, лишенных голов, чтобы не разлетелись. Тут что их беречь, клуй, уклейка, за мухами дело не станет!

Но для рыболова, готовящего крючок на крупную добычу, иногда может неожиданно возникнуть надобность в уклейке.

Случается так, что черви все истрачены, хлеба нет ни крошки и живца ни одного. А вода как зеркало, ясно сияет полдень. На перекате плещутся, пуская круги, какие-то не то шерешперы, не то голавли. Туда запустить бы серебристого живчика. Да и под куст, свесившийся над тихой глубокой ямой, недурно бы поставить жерлицу: там хватит окунь.

Вот тут подумаешь, как расправлять крылья у мокрой мухи, смятой поклевкой. Муха на берегу редкость, да и где ж там ловить их, мух, — рыбу надо ловить. Уклейка хватает любую приманку скорей, и попадаете проще, чем какая-либо другая рыбка, — в этом ее главное и, пожалуй, единственное достоинство. Живец уклейка неважный. Она скоро засыпает на крючке при всей осторожности, при всем искусстве рыбака, прицепляющего ее, хрупкую рыбку, за губу; насадки за спинку она не выдерживает ни на минуту. Так насаживать уклейку можно лишь для окуня — тот ее, серебристую, даже и мертвой берет охотно, без осечки.

К осени, когда особенно жадно начинает брать крупный окунь, есть расчет ловить уклейку на кусочек червяка со дна над быстриной: она клюет со всеми своими плутовскими повадками. Тюк! И скорее тягу. Подсекать надо при первой дрожи крошечного поплавка.

Не хуже окуня уклейку взял бы, несомненно, налим, но, к сожалению, с ним уклейка никогда не встречается. Весной, едва резвые стаи лазурно-серебристых рыбок побегут по просветлевшей воде, налим перестает брать на самые лакомые приманки, не только на тощую уклейку. А осенью, когда налим начинает хватать что попало, уклейка исчезает—нигде ее не видать. Щука уклейки, по моему мнению, не любит.



РАК

Речка Ревна не обозначена ни на какой карте. Она течет где-то в глуши брянских лесов. Из каких ключей она берет начало, куда впадает, я не знаю, но воды, более прозрачной, чем в Ревне, мне видеть не пришлось, и лучшей воды я не могу себе представить. Она не очень холодна. Быть может, поэтому в ней нет форели? О хариусе в тех местах никто не слыхивал. Самые простецкие рыбы в Ревне: летом—окунь, щука, плотва и ерш; зимой бывает налим. Больше никаких нет, да и те не очень крупны; щука в два килограмма—редкость. Зато там с купальни у крутого берега выдвигалась над водой широкая, толстая доска нарочно для того, чтобы, лежа на ней высунув только голову, подглядывать разные подводные разности. И я видел... много.

Кроме всего прочего, оказывается, совершенный вздор, будто рак только пятится назад. Он очень бойко расхаживает по дну как ему нравится, взад и вперед. Рак плавает великолепно, чего я от рака почему-то уже никак не ожидал. Слегка поводя клешнями, он идет, как все ходят, прямо вперед. Смотрят ли на что-нибудь всегда неподвижно выпученные рачьи глаза? Что рак видит, какое у него о том мнение? Тут сказать что-либо трудно, и с человеческими заключениями тут не надо спешить. Несомненно то, что спокойно идущий по дну рак вдруг, без малейшего видимого усилия, без всякого движения клешни или хвоста, стремительно всплывает кверху на метр, на полтора, и почти торчком несется вполводы против сильного течения, как отличный пловец. Он

перевертывается то одним боком вперед, то другим, не размахивает бестолково клешнями, не хлопает зря хвостом; он ими правит, летит, имея гнусно-мрачный вид, но летит в воде, как рыба. При помощи каких средств? Плавательного пузыря у него нет. Рак свободно и легко поднимается со дна торчком к поверхности воды. Зачем? Подышать воздухом? Он откуда-то набирает его много и так, без всплывания, и иногда, опять-таки без видимых причин, начинает его выпускать. Тогда от рака, хотя бы он стоял на месте или шел по дну на значительной глубине, бегут и быстро-быстро выскакивают на поверхность прозрачные пузыри и там лопаются, чуть слышно урча. Вот на основании такого зрелища человек на берегу имеет право заключить, что тут, под пузырями, — рак, хотя бы его и не было видно.

Подойдя, как всякому пешеходу полагается, на ногах к червяку, висящему на удочке, рак спокойно стаскивает его с крючка клешней. Поплавок удочки при этом, конечно, прыгает, иногда тонет, рыбак поспешно выхватывает удочку — ничего! Пока его тащат, рак разжимает клешню и, опустившись камешком на дно, продолжает путешествие, прерванное неудачной попыткой закусить. Изредка рыбак, поспешно выхвативший удочку, видит мелькнувшую у поверхности воды рачью клешню в тот миг, как она разжимается, покидая предательскую приманку. Еще реже удается, подцепив, выбросить рака на берег: это случается при очень уж большой осторожности рыбака и значительной промашке со стороны рака. Там, где раков много, ловить рыбу на удочку не стоит: раки стащат и съедят все приманки, сами не попадутся, а рыбака изведут ложными поклевками впустую.

Зато в рачью эти усатые пожиратели падали, эти пучеглазые, как будто бы хитрые воры набиваются глупее глупого, точно слепые.

Конечно, прекрасно, если для рачни есть железный обруч или отрезок толстой проволоки, согнутой в круг, есть мелкая металлическая сетка, чтобы покрыть этот круг. Такая восхитительная рачня сама тонет, без груза, ложится ровно, для раков незаметна. Это мечта, а не рачня! На Ревне подобная прелесть вызвала бы изумление, восторг и, наверное, драку. К счастью, там, на берегах прозрачной речки, отлично обходятся без такой роскоши, а для рачни берут обыкновенный рябиновый или осиновый обруч, перетягивают его в решетку по всем направлениям лыком — за отсутствием даже бечевки — и, привязав к нему мочалками камни, опускают на дно. Без приманки? Ну, нет. Рак любит тухлятину, падаль. Откуда их достать? Для горожанина даже смешно: такого добра везде больше, чем нужно. В деревенской глуши над этим подумаешь. Мяса там нет, хлеб рака не привлекает, на молочную кислоту рак совсем не идет. Стается рыба; ее очень неудобно мочалкой привязывать к рачне. Не привязать нельзя: раки прежде всего стараются утащить приманку. Они дерутся из-за нее, большие отталкивают, уцепив клешней за хвост или за клешню, стаскивают тех, кто помельче, теснятся отвратительно кишасей грудой, покрывая прикрепленную к рачне рыбку. Сосут они ее, гложут, щиплют на куски клешнями? Не рассмо-

треть в жадной толкотне. Очень скоро от рыбки остается лишь костяк, а усатая толпа стервятников начинает расползаться кто вперед, кто назад. Это значит, рачник прозевал. Если он теперь потянет рачню кверху, то даже запоздавшие обжоры проворно всплывут и — рачня пуста. Обычно, однако, рачник знает свое дело. Он в точности когда нужно вытаскивает бесхитростную ловушку. В Ревне видно, когда пора тащить, а в более мутных водах — там делается по какой-то догадке, по опыту. Спешить нельзя: сразу только мелочь наползет. Надо подождать полчаса, иногда с час; тогда настоящий крупный рак будет. Прозрачная Ревна объясняет, в чем тут дело. А как узнали это на берегах Колокши, в мутной воде которой раков также видимо-невидимо?

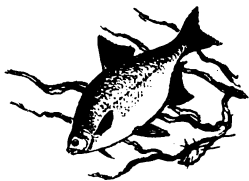
Можно ли представить более наивный прибор для ловли, чем неуклюжая рачня? А вот такими деревянными обручами, переплетенными лыком, по Ревне дня за три налавливали раков вагон и, уложив в плоские корзинки со мхом, отправляли живыми в Москву.

Несколько лет назад во многих реках средней полосы раков истребила чума.

За Ревну я не беспокоюсь: если там и передохли раки, то все-таки скорей, чем где-либо, в Ревне должны они снова развестись — такая там была рачья сила. Уйма грязных трупоедов в воде, прозрачной, как слеза. Откуда, почему? Речной рак бывает до двадцати пяти сантиметров в длину. Я таких великанов рассматривал только вареными. Говорили тогда, что они с Волги; я все-таки их не ел.

В аквариумах ленинградских магазинов я видел живыми небесно-голубых раков. Где ловятся такие красавцы, — выяснить не удалось.¹

Вид их замечательно отвратителен: к подводному вору, к стервятнику, пожирателю мертвечины, пристал его мрачно-серый цвет и вовсе не идут лазурные оттенки.



ЛЕЩ

Обычно в первых числах мая, когда Клязьма, вошедшая в берега, но обильная внешней водой, бежала, еще не показывая противных рыжих отмелей, на городском мосту мальчишки кричали:

¹ Оказывается, такая окраска — временное явление: таким рак бывает ненадолго после линьки.

— Лещи пришли! В Уткиной заводи вчера косяк видели.

И на другой день по базару носили больших широких рыб с крупно-золотистой чешуей и ярко-розовыми плавниками. Это, очевидно, обозначало, что злополучный косяк вычерпнут приготовленной для него сетью.

Много лет из года в год повторялось одно и то же; косяков иногда приходило за весну два, три, редко пять, что, впрочем, всегда кончалось одинаково: мальчишки кричали и лещей вычерпывали, блестящих, ярких, толстых, набитых икрой и молоками, шедших на нерест. Идут на брачный праздник жизни, тут-то их и накрывают... Казалось бы, что при подобном истреблении в самом корне они должны давно исчезнуть, крупные, смирные, глупые рыбы. Нет, обмелевшая, загрязненная ядовитыми стоками река продолжает из каких-то тайников каждой весной выкидывать стаи толстых, широких лещей. Они идут спокойно, без скачков и буйных всплесков, но их нельзя не видеть, когда они идут, и сразу видно, что это именно лещи.

Ловит ли лещ мошку, незримую с берега, или — у всякого своя манера веселиться — он так играет, но толстяк, подняв короткую, несоразмерно маленькую головку, выпускает вереницу крупных пузырей воздуха и, повернув широкую спину, степенно, важно шлепает хвостом. По воде медленно расходится круг, большой круг — не мелочь какая-нибудь плеснула, — но не глубокий, не волнующийся, пенистый, как после удара выскользнувшей шуки, а круг плоский, тихий, достойный почтеннейшего леща.

В тишине весеннего вечера такое пусканье пузырей не только видно, но и слышно; довольно далеко несется смешной, не то булькающий, не то чмокающий звук. И смирная игра широких толстяков, так благочинно шлепающих хвостами, представляет очаровательное зрелище с берега, обычно заросшего черемухой. Она тогда цветет, и соловьи поют в кустах, осыпанных душистым снегом.

Хороший художник мог бы написать прелестную картину весеннего хода лещей: так ярко краски догорающего в золоте вечера, так прозрачен свежий воздух, так ясно видно стадо огромных рыб в верхних струях воды.

На самой свадьбе, во время нереста на мели, заросшей травой, лещи так бунят, как и ожидать невозможно от их степенства: выпрыгивают — этикие-то подносы, — шлепают, плещут так, что брызги летят и шум стаи слышен чуть ли не за версту. Тут лещи, конечно, ничего не едят — не до червяков тут.

Играющим лещам бесполезно предлагать самые соблазнительные приманки: лещи упорно не берут. Гораздо вернее устроить приваду около того места, где замечена игра. Если в глиняный шар величиной с апельсин закатать десяток навозных червей и пяток таких шаров спустить в воду у затона, против которого накануне веселились лещи, то на утренней заре тут, около шаров, он клонет, золотистый, широкий лещ. Полдужины мелких, отменно бойких красных червяков надо наса-

дить на небольшой крючок так, чтобы хвосты их тарашились во все стороны. Если почему-либо желательно предложить лещу распаренную горошину на совсем маленьком крючке, то и глиняные апельсины также должны быть приготовлены с горохом.

Едва полетит над порозовевшей водой легкая дымка предрасветного тумана, как будто маленькая-маленькая рыбка тронет такую странную насадку, как связка червей или горошина: это он, лещ. Такой уж у него характер: чем лещ крупнее, тем тише он берет, от старости или по лени либо шевеля чересчур толстыми губами, или вследствие мудрой осторожности от долгой жизни.

Поплавок плывет чуть-чуть, не пляшет мелкими скачками, не дергается; он безостановочно движется, иногда проплывет с пол-аршина и вдруг решительно тонет: взял. Чик — подсечка! Ну, тут он себя покажет, лещ, ежели в нем фунтов пять — шесть, не говоря о большем. Он бешено дергает, пробуя, нельзя ли оборвать леску сразу, и, если удилище не гибко, он ее оборвет. Когда оборвать не удалось, он полукругом так мчится около берега, как и ожидать нельзя от него, неповоротливого толстяка. Он кувyrкается вверх хвостом и, живо проделав все эти штуки, ложится на широкий бок — долго лещ не сопротивляется. Конечно, брать рукой его нельзя, хотя бы он лежал раскрыв рот, — на то, чтобы вырваться из рук и соскользнуть в воду, сил у него всегда хватит.

Всего интереснее ловить леща на распаренный овес или на поденку. Апельсины из глины в таких случаях готовятся с овсом или поденками. Крючок тут уже крошечный, леска тончайшая, и рыбак должен доказать, что он умеет ловить нахлыстом, то есть может закинуть длинную легкую леску так, что приманка ляжет на воду не шлепком, ажнейшим прикосновением. Подумать надо: вся приманка — овсяное зерно или ничтожная желтовато-серая бабочка с очень хрупкими крыльшками.

В случае удачи на поверхности воды около приманки в самый миг ее падения показывается коротенькая голова, неторопливо чмокает толстыми губами, глотает овсинку или бабочку и, показав толстенную черную спину, махнув широким хвостом, пытается скрыться. Но ничтожный предатель-крючок, вцепившись, держит, и начинается та же история бешеного, но короткого сопротивления, опасного тем, что вся снасть уж очень тонкая.

Мне не случилось слышать, чтобы крупных лещей выуживали много: три — четыре уже исключительно богатая добыча. Вероятно, их мало остается от вычерпывания сетью. Подлещиков в триста — четыреста граммов я однажды поймал столько, сколько лет к тому времени прожил на свете. Я опускал короткую леску в одну и ту же прогалину между плотами. Без удилища, прямо от руки спущу червяка, подожду немного и тащу очень бойкого, приятного толстячка. Часа два продолжалось мое блаженство. Я стал привыкать к несложному счастью: забросил удочку, — получаю подлещика. Но вдруг та же удочка повисла мертво.

Я сидел над ней до вечера, пришел к той же прогалине на другой день опять с утра — ни поклевки. Четырнадцать одинаковых подлещиков, попавшихся на невежественную удочку мальчишки, остались единственным случаем. Что это были за стайки?

Маленького леща мне никогда не удалось видеть. Должно быть, они хорошо и долго таятся, обеспечивая — наперекор всем сетям и другим опасностям — появление косяков лещей.

У леща есть несомненно близкий родственник — синец. Он такой же плоский, широкий, как и лещ, но не так плотен, не так толст, никогда не бывает жирен, чем лещ иногда отличается, и плавники у него синие. На кухне, где лещ пользуется значительным уважением, синца презирают вполне: кошачье кушанье — ни вкуса, ни сытости. Синцов я, судя по величине, ловил всякого возраста, начиная с ничтожно мелких, клевавших на обрывок червяка, и кончая серебряными «подносами» в три килограмма. Самая большая рыба лещевого образа, какую мне удалось увидеть, от меня ушла, оставив мне только воспоминание. Это был именно синец, попавшийся на перемет в реке Нарове, где я ловил угрей — черных, длинных, так крепко сидевших на крючках, что сачка для них не требовалось. И вдруг в сумраке летней ночи из темной воды блеснуло что-то огромное, круглое, точно серебряный щит.

Я тихонько подвел, увидел, что это необыкновенной величины синец. Он шел смирно, но когда я, чуть не плача об отсутствии сачка, схватил великана за спину, он вильнул, скользнул и исчез в воде, показав такой хвост, какого я и у лещей никогда не видывал.



ЩУКА

Новое щучье поколение не может выклюнуться на свет, если икра, в которой его поколение начинает жизнь, не болтается между воздухом и водой. Щука должна выйти на мель и выметать икру так, чтобы она прилепилась к траве, к тростнику, к чему попало. Икринка, все время плавающая, гибнет так же, как и совсем обсохшая: юную щучку даст только та икра, которая то окунется в воду, то проветривается. Конечно, щука не может заниматься правильным размещением своей икры. Она выметает ее в подходящем месте и, если удастся, уйдет. А попадет ли икра куда ей следует, это дело ветра и волны. Желтые, узкие ленты щучьей икры видны издали. Чайки, утки, вороны сейчас же принимают ее есть. В воде ее свирепо жрут ерш и окунь; другая рыба тоже не прочь попробовать щучьей икры. По мели икрятая щука часто ходит так, что

ее черная спина высовывается из воды. В это время щук стреляют, ловят всякими способами, в том числе просто руками.

Все делается для того, чтобы щук истребить; никакая рыба, никакое существо не выдержало бы подобного преследования. А щука разводится везде в изобилии, растет удивительно быстро и, наперекор всем своим истребителям, часто достигает крупных размеров.

Поймать щуку в четыре килограмма вовсе уж не такое мудреное дело, а это порядочная образина.

В одной такой щуке я нашел совсем свежего щуренка и в нем — только что проглоченного пескаря. Подобного представления, кроме щуки, пожалуй, никакая рыба не даст!

Щуренок, щучка до килограмма, иногда клюет на толстого червяка, если он уж очень бойко вертится на крючке. Щука покрупнее берет только на живца, окончательно брезгает одним линем, остальных живьем ест всех, не исключая и себе подобных; впрочем, щуренка на крючок, как живца, насаживать не приходилось никогда. Лягушонком, также только очень бойким, щука иногда соблазняется. Утят она глотает замечательно: не хватает, как можно было бы ожидать, за лапки, чтобы утянуть в глубину, а прямо целиком — хлоп! Высовывается среди зелени из воды щучья морда с широко раскрытой пастью, маленький пуховичок-утенок как-то вваливается туда, точно что-то его втягивает, и, прежде чем он успеет пикнуть, морда, сомкнув челюсти, исчезает. Все происходит в одно мгновение. Утка мечется, кричит, точно ее режут, ныряет, — напрасно: ни следа, ни отзвука борьбы, ни малейшего волнения.

Это редкое зрелище можно нечаянно — как все тайны леса и воды — увидеть на глухой глубокой луже, соединявшейся когда-то протоком с озером или рекой. Рыбы в таких лужах мало и трудно ее ловить, — стебли густо растущих трав мешают. Щука ловит рыбу, как ястреб птицу, на вольном просторе, без заросли, без помехи, не там, где при погоне влопыхах просто ушибиться.

Случается, что проток весной неожиданно обсохнет, летом буйно зарастет и на следующий год не возобновится. Щука, зашедшая в лужу, остается там навсегда. Она живет в своей луже долго, до седины, до какого-то мха на голове. Ее видят из года в год то пастухи, то мальчишки; иногда попадает она под выстрел охотника, и тогда, разрезав огромную рыбу, убеждаются, чем она питалась: утятница.

Речная щука всегда гораздо светлее, много бойчее, чем озерная, и никогда не достигает такой величины, как та. В больших озерах почти черные щуки-великаны, очевидно, прячутся в каких-то тайниках многие десятки лет. В озере Моло в Финляндии я вытянул было одну, должно быть, столетнюю. Она хватилась на блесну так, что потрясла всю лодку, в которой сидело двое рыбаков. Без скачков и всплесков рыба немедленно ушла в глубину. В первый миг показалось, что она бросила приманку. Но нет, леска вновь натянулась, зазвенела, согнулось удище, и борьба началась. Рыба с полчаса не показывалась на поверхности,

упорно ходя на кругах в глубине. Но удилище то сгибалось, то выпрямлялось, катушка крутилась с не меньшим упорством, чем ходила рыба. Вытягивалась медленно леска, все сгибалось, выпрямлялось удилище, и дивная снасть победила, выдержав бешенные порывы и страшную тяжесть. Наконец с плеском мелькнул огромный хвост, и вся щука всплыла, как черное бревно. Тогда лодка поспешила к мели. Щука смиренно шла за лодкой, еле шевеля плавниками. Измученная щука, приткнувшись к мели, тяжело легла на песок. Какие-то серые, почти белые кружки, бугорки, наросты покрывали ее голову слоем не то седого мха, не то выветрившейся извести. В зубастой пасти виднелась чуть зацепившаяся искривленная блесна. Щука, после часовой борьбы, лежала без движения; я оседлал ее очень бойко, но, едва мои руки прикоснулись к костистым крышкам жабр, щука согнулась, и я полетел кувырком в мелкую воду. Щука забилась, оборвала, как гнилую нитку, леску, не поддержанную теперь сопротивлением удилища, и заплескалась по мели, направляясь в озеро. Напрасно старался я вновь как-нибудь схватить ее. Другой рыбак бегал за ней с топором. Куда там! Щука извивалась змеей, крутилась, кувыркалась, и с каждым порывом силы ее возрастали. Она исчезла в озере, оставив нам только восторг воспоминания; не часто удается подержаться за такое невероятное чудовище.

На кухне щуку свыше восьми килограммов не принимают совсем, мелочь до одного килограмма также не любят; в почете там средняя щука от двух до трех килограммов — дальше уже хуже; впрочем, за окунем или судаком там, на кухне, никакая щука ни в коем случае угнаться не может: третий сорт рыба — щука.

При обилии хороших живцов — пескарь, плотичка, карась, окунь, ерш — шук интересно ловить на жерлицы. Расставишь их по берегу десятком — полтора да от одной к другой и подползаешь из-за куста, подсматривая, не спущена ли рогулька, не гнется ли удилище. Иногда рогулька привязывается прямо к кусту, склонившемуся над излучиной реки. Так ли, иначе ли, борьба тут проста: прямо, в упор, на прочность бечевки. На всякий случай лучше иметь сачок, но можно даже и без него обойтись: щука обычно заглатывает живца прочно. Возня с живцами и некоторая грубость такой ловли не всем понравится. На мой вкус лучшая охота на щуку — с блесной. Самодельная ли оловяшка, первая попавшаяся «ложка» с крючками — одна сторона белая, другая желтая — или шелковая рыбка — все равно, цель их одна: изобразить нечто блестящее, на что кинется щука. Она бросается из травы, из тростников, и есть особенная прелесть в этом хищном клеве у берега спящей под солнцем реки. Щука берет утром, но утешает рыбака и в полдень, когда клева вообще нет. К осени, когда просветлевшая вода начинает холодеть, щука жаднее берет именно в самые яркие часы дня. Однажды в августе я вытащил весьма порядочную щуку с висевшей у ее пасти блесной — рыбкой, только что оторванной ею от удочки другого рыбака. Он подъехал на мой крик, несколько смущенно узнал свою

блесну — этакая небрежность, перегоревший поводок! — и вместе со мной подивился неустрашимой щучьей жадности.

Щука, в особенности осенняя, по-видимому, не может не схватить блестящей приманки. Несколько раз случалось мне ловить очень странных щук: чуть зацепившись за зубастую челюсть, висит блесна, а из пасти торчит хвост только что проглоченной рыбы. Зачем было хватать? Не голод же, ясно. Для рыбака такая жадность щуки — очень приятная черта характера, а поведение щуки, схватившей дорожку-блесну, заслуживает всякой похвалы. В особенности хорошо ведет себя именно средняя, наиболее ценная щука. Великан кидается в глубину, упирается, надеясь, должно быть, взять рыбака измором, причем большей частью ошибается. Средняя же щука, зная себе цену, выпрыгивает из воды, изгибаясь серпом, как только почувствует крючок, затем крутится, мечется, кувыркается, как бешеная, но, раз подведенная к лодке, смиренно лежит на боку. Тут надо подцепить ее багром, отнюдь не доверяя ее смирению: хищница хитра и коварна.

Ловят щук и с берега на удочку, конечно, на живца, с поплавками. Можно так ловить. Отчего нет? Этакая ловля немножко получше жерлицы. То и другое — жерлица и поплавок на щук — пешее дело. Они бесконечно хуже блесны. Очевидно, можно и посидеть на берегу, когда не на чем или не с чем ехать, но при лодке сидеть на суше рыбак не станет.



НАЛИМ И СОМ

Обе свиньи подводного мира, налим и сом, живут вместе. Конечно, такой крупной рыбе, как сом, необходим простор. В маленьком водоеме могут оказаться лишь мелкие налимы без сома, но там, где водится сом, непременно есть и налим.

Шатаясь по дну, они оба подбирают падаль и всякую дрянь, не брезгают мутноватой водой, любят тихие заводи, глубокие ямы и колдобины, обрывы, загроможденные корягами.

Налима увидеть настолько же трудно, насколько сома легко. Налим, кажется, никогда не выходит на мель, а сом непременно это делает, как только достигнет значительного роста, должно быть, дающего ему самоуверенность. Плещутся въявь только взрослые, полновесные сомы, то есть рыбы килограммов в двадцать; те, что помельче, сомята, прячутся, подобно налимам ползая по дну.

Сом иногда гоняется за очень мелкой, юркой рыбой. Как совместить это с его толщиной? Он если не ленив, то, несомненно, склонен к неподвижности, к лежанию часами на дне ямы. Сом не торопясь подбирает мертвечину; весь его склад, видимо, не приспособлен для погони. Однако эту неуклюжую колоду, сома, стремительно несущегося по отмели, я видел много раз: стрела, а не колода! Огромная черная рыба, случается, столбом выскакивает вся из воды и хлопается опять в нее, точно толстое бревно, так, что брызги летят, и, пенясь, разбегается широкий круг. По звуку судя, можно подумать, не лошадь ли бултыхнулась в воду.

Однажды сом чуть не наскочил на меня. Я, остывая перед купаньем, стоял неподвижно на мели; вода не достигла мне до колен. Вдруг серебряным дождем брызнула вокруг рыба мелочь, и, как-то привстав на хвосте почти мне до плеч, поднялся сом. Он был в двух шагах от меня; я невольно кинулся за ним; он повалился с плеском и исчез. Для чего он так вставал на хвост? Увидал ли сом, что налетел на человека, и слишком резко остановился в стремительном движении? Или он всегда так делает при погоне, отчего и бултыхает, как бревно? Едва ли можно это узнать, но такое зрелище забыть нельзя. Какая зверски искаженная морда, рыба морда, казалось бы, не имеющая способности что-либо выразить! Нет, она неистово, бешено выражала: сожрать, сожрать! И в крошечной шелке морды, обращенной ко мне одной стороной, маленький круглый глаз пылал, сверкал, как раскаленный уголь.

Впервые попался мне соменок килограмма в два на подпуск, на червяка.

Сомята, иногда довольно крупные, охотно берут на раковую шейку, на целого линючего рака, на живого лягушонка. Донная удочка закидывается с мели так, чтобы насадку, лежащую у самого края ямы, ому-та, обрыва, нельзя было утащить далеко в глубину, иначе соменок за-бьется под корягу, в зацепы — и все пропало.

Надо очень точно знать дно места ловли, тогда можно рассчитывать на успех. Беда еще в том, что соменок берет в самое глухое время летней ночи, когда истомленные зноем кусты отдыхают в благоуханиях, когда теплый туман тянется над рекой полупрозрачными облачками.

В этот час ароматов, тишины и комариных жужжаний непобедимый сон сладостно овладевает юным рыболовом. Иной раз слышно, как вдруг отчаянно заболтает тонким серебряным голосом колокольчик донной или задрезжит ее бубенчик, но спать так хочется, что нет сил подняться с сухой подстилки у костра и побежать по росистой траве к удочке. А сидеть около нее, сторожа поклевку, на голом сыром песке, в роях комаров, тоже не всякому понравится. Поэтому успешно ловят на удочку сомят преимущественно те, кто искушены значительным опытом жизни: они знают, как свои пять пальцев, места, куда закидываются донные, и умеют, выпавшись днем, не клевать носом ночью.

Налим летом не ловится; он идет на приманку только в холодной воде. С весны, как только река сбросит лед, мелкий налим клюет на червяка недели две — три не очень жадно; крупный — на рыбку даже как будто бы вовсе не берет. Их много ловят в это время мережами, заколами, даже просто мордами, но не вылавливают же всех.

Когда зазолотится лист на липах и березах и ночи потемнеют, налим начинает брать на червяка, а крупный — на всякое мясо, мягкое и пахучее. Впрочем, он охотно берет и мертвого ерша или окунька прямо с колючками. Особой хитрости в снасти, осторожности в постановке ее не требуется. Со стороны налима, можно сказать, препятствий к его ловле нет; мешают тут, и очень сильно, темнота и ненастье осенней ночи. Днем налим почти не клюет. Он берет ночью и до света сидит на крючке смирно.

В притоке быстрой Клязьмы, в Нерли, тихой, богатой глубокими излучинами, местами тинистой, налимов много, и попадаются очень крупные. Очень много налимов, еще более крупных, в озерах, длинной цепью протянувшихся по течению Клязьмы. В ней же самой, бегущей по желтым пескам Клязьме, налимов мало, и налим в один килограмм — редкость, все мелочь.

Но эта, когда-то прелестная, золотисто-прозрачная, теперь полуиссохшая река, до сих пор странно изобилует сомами.

В ее верховьях у деревушки Фрязино есть омут, яма, провал — как угодно — длиной километра в три и шириною во всю реку, от берега до берега. Там сотни, быть может, тысячу лет скапливались коряги, зацепы, затонувшие деревья и кусты, остатки лесных сплавов; там окаменевшие дубы, там камни, в яме еще ямы, среди провала еще провалы и обрывы. Вода стоит тихо или слегка крутится в темных глубинах, повверху бежит быстро, прозрачная. Это огромный естественный заповедник, рассадник сомов.

Проезжая через сомовий фрязинский омут, рыбаки заранее вынимают свои сети, только не зацепить бы, не порвать их в этой подводной трущобе. На удочку выловить никакую рыбу нигде нельзя; и как непроходимые дебри леса дают жизнь стадам кабанов, так тут недоступная глубина реки охраняет поколение за поколением огромную безобразную рыбу.

Отсюда сомы расходятся по всей реке.

Чудовищного сома, весившего не менее полусотни килограммов, поймал при мне сторож городской купальни. Тогда Клязьма текла еще сильно. «Живой» мост действительно живо плавал над глубиной в два метра, и с его бревен «купальщик» ставил жерлиц на сома. По зарям купальщик охотно показывал своего врага, ругая его всячески. Вот ходит, жрет, а не попадает. Сом или утаскивал насадки, или обрывал бечевки, или не брал совсем. В тот миг, когда купальщик пытался подцепить его багром, сом, плеснув, исчезал; вообще же он у моста, по-видимому, любит проводить время. Однажды в общей купальне я наступил на что-то мягкое, скользкое, холодное, несомненно живое, и с кри-

ком выскочил из воды. На поверхность ее всплыло что-то длинное, черное, показалась широкая плоская голова с усами — и все скрылось. Сом! Зачем он забрался в купальню, что там делал, лежа на дне?

Холодела вода — сом исчезал, начинали купаться — он откуда-то являлся. Купальщика сом, по-видимому, ни в грош не ставил. А тот изощрялся в насадках, выпрашивал, выписывал — подумайте, за деньги выписывал! — крючки, ругался и продолжал жерлицы свои делать из толстых, но дрянных бечевек. История, тянувшаяся не то три, не то четыре лета, состарилась; на нее перестали обращать внимание: купальщик лазит, ругаясь, по бревнам со своими жерлицами, а сом плавает сам по себе, показываясь въявь днем то тут, то там. У сторожа дровяного склада, неподалеку от купальни, сом переловил и съел почти весь выводок утят. Ругать сома и лазить по бревнам моста стали двое, а сом продолжал обрывать огромные крючья, привязанные на гнилых веревках. Но у сома нашелся коварный, хотя и юный враг. Он, рано вкусив от древа познания рыболовной литературы, подsunул купальщику отменной выделки крученого шелка смоленую лесу с небольшим, но отменной же крепости толстым крючком и дал совет: запрятав этот крючок в живот полуоципанной, слегка подпаленной галки, поставить такую тонкую снасть на гибком удилище вместо дубины-жерлицы.

Сом не только схватил, но проглотил хитро обдуманную приманку — и погиб. Представление, данное сомом по этому поводу, продолжалось от рассвета до полудня. Купальщика сом несколько раз стаскивал с бревен моста в воду; тот плавал, крича и ругаясь на чем свет стоит, но удилища из рук не выпускал.

Сом, если бы понимал, мог быть доволен и горд: народная любовь принадлежала ему вполне. Каждое падение купальщика в воду вызывало взрыв радостного хохота у зрителей, и наоборот — когда купальщик, отдуваясь, выкарабкивался с ругательствами на скользкие бревна, на него сыпались насмешки, а в честь молодчины-сома — град ободряющих восклицаний.

Возможно, что сом, утопив своего врага, вырвался бы вместе с удилищем, если бы другой его враг с дровяного склада не подал лодки. Потаскав ее туда и сюда, чудовище всплыло кверху брюхом. Тогда его вывели на мель и выволокли на берег при восторженном реве сотенной толпы. С тех пор столько утекло воды, что в Клязьме ее почти не осталось. «Живой» мост давно лежит на песке, плавать ему не на чем. Купальни по той же причине не существует, и... вообще много разных разностей случилось с тех пор.

А дивный омут около деревушки Фрязино продолжает хранить тайну сомовьего вывода, выкармливает под защитой своих коряг огромных усатых рыб и выпускает их на удивление прибрежных жителей в почти иссохшую реку. Сом длиной в метр и теперь в Клязьме не редкость. Ловят, однако, сомов не много: не у всякого хватает на то терпения.

Сомовий перемет прост до крайности. К веревке метров в шесть привязывают на тонких прочных бечевках пять крупных крючков, насаженных кусками тухлого мяса, лягушками, внутренностями птиц, и всю эту грубую снасть, привязав к ней по камню с каждого конца, погружают в воду, около ямы, где замечен сом, а поверху на веревке пускают поплавок-полено. Вот и все. Только ждать надо иногда неделю, присматривая ежедневно, чтобы насадку не зацепило, не затянуло тинной, илом. Сом походит, походит, а все-таки возьмет и, иногда оборвав два — три колена, попадетсЯ на четвертое. Ну, вместо недели иногда пройдет две. Пустое дело, потерпи, рыбак!



ЧУДОВИЩЕ

Ботничок лежит вверх дном. Рядом горит костер, и на огне, пуская черный дым, пытит и всхлипывает в котле смола.

Емелька Чиров опускает в котел помазок, хлопает им по ботничку и ворчит:

— Нешто это порядок по песку лодку таскать? Чать, тут не железо. На-ка, до дыр протерли, чтобы им передохнуть! А у меня других делов нету? Как же!

Ботничок, как известно, нанимаю только я. По песку волочил его тоже не кто-нибудь иной. Но всю свою брань Емелька относит на каких-то воображаемых злоумышленников, со мною же очень любезен.

— Распашную бери, — предлагает он, — расчет маленький. И гребца я тебе дам. Эй, Илюшка!

Понимаю. Емелька приносит нашему повару рыбу, и при таком случае оба напиваются пьяными. Значит, дело не в любви ко мне, а в выпивке. Но мне не все ли равно?

Мы выезжаем на лодке.

На корме сажу я и правлю; гребет Илюшка. Я его давно знаю. Это хилый, бледный мальчик. Он иногда также приносит повару рыбу, но никогда ничего не говорит, спешит сдать свой товар и убежать.

Ну, тут в лодке носом к носу другое дело. поговорим. По нескольким словам, однако, я замечаю, что гребец мой заикается.

Мне его жалко, я не пристаю к нему с расспросами, и мы почти молча доезжаем до «нашего места» на Соляной.

Тут река делает очень крутой поворот. В излучине вода почти стоит, слегка даже идет против течения. Я закидываю свои удочки, пока Илюшка занят костром и чайником.

Дома меня отпустили с утра до ночи, и потому моя корзинка битком набита едой. От угощения Илюшка не отказывается, ест жадно. Я с удовольствием вижу, что если говорить тихонько, то Илюшка болтает охотно, почти не заплетая языком. Он рассказывает про свои домашние дела. Матери у него давно нет. Никто о нем не заботится. Его часто бьют. Даже заикаться-то он стал после того, как ему голову проломил колодкой дядя Никеля. Это что же такое Никеля? А почему он знает? Все так зовут. Он сапожничает, дядя Никеля, пьяный был и колодкой бросил в него, да в голову и попало. Он ничего, добрый, Никеля. Только пьяный злой. Очень жалко, теперь в остроге сидит. За колодку? Нет, это уже давно, это пустое, тут никому дела нет. А попа Гриху ограбил. Какого? Отца Григория из Спасской церкви. Лежит в канаве пьяный. Кто? Да поп-то. А дядя Никеля мимо идет, тоже пьяный. Снял все с попа и унес домой. Полиция пришла, обыскала, крест нашли золотой на золотой цепке — и всё. В острог Никелю увели. Говорят: священнослужителя ограбил. А что тут священного, если в канаве валяется?

На такой шекотливый вопрос я не в состоянии ответить. По-моему, не плохо, что дядю посадили: не будет кидаться колодками. Но Илюшка не согласен. Без Никели некому для сома живца насадить. Еще только тетя Фрося умеет. Да та хворает, не до живца ей.

— Разве так трудно поставить: на живца? Я умею.

— Ты?! Лягушонка насадить?

— Лягушонка? Нет, лягушонка не пробовал.

— Ну так и молчи.

Мы ловим речных лягушат, маленьких, очень резвых, бледно-зеленых на белой подкладке. Я пытаюсь приладить лягушонка на крючок. У меня ничего не выходит. Сомовий крюк крупен. Лягушонок мал и слаб. Зацеплю чуть-чуть — через минуту крючок болтается пустой: сорвался вертлявый лягушонок. А как только прикреплю его поглубже, он судорожно растопыривает лапки: околел.

— Ты еще попробуй ниткой привязать, — криво усмехаясь, советует Илюшка.

Делаю, не подозревая коварства. Очень скоро получается лягушонок-удавленник. Илюшка хохочет.

— Сделал? Вышло? То-то, брат, еще мало каши ел. Поумней тебя пробовали.

— Возьмет и так сом! Берет же он на куриную кишку?

— Верно. На всякую падаль берет. Только неделю ждать надо. Не сидеть же там. А оставь крюк на день — украдут.

Вероятно, сотню лягушат погубил я в напрасных попытках устроить приманку для сома.

— Вьюна еще больше любит сом, — ядовито утешал Илюшка, — да тот еще трудней.

— Вьюн?

— Да, в болоте, в грязи водится такая рыбка, на змейку больше похожа. Как поставил на вьюна — готово, Сом сейчас придет и возьмет.

— Так что же?

— А то же. Слабей лягушонка вьюн. Либо уйдет, либо околеет. Нет, брат, не доросли еще мы с тобой сомов ловить.

Все мои снасти Илюшка забраковал скоро и решительно, только подпуска одобрил, но и то со вздохом: на червяка ставится подпуск, настоящей рыбы на него не поймать. Я знаю, кого он обозначает таким названием.

Меня Клязьма продолжала манить множеством рыб «не настоящих». Там подусты, синцы, язи, лещи берут на червяка. Ботничку своему я изменил. Он хорош для охотника, но при рыбной ловле распашная лодка куда удобней. Да еще такой опытный гребец-рыбак, во всем помощник, как Илюшка.

Пока солнце великолепно исчезает за краем земли, мы в золотистом сиянии вечера успеваем поставить три подпуска. Какая тишь, какая гладь! Пробку подпуска видно, как она удаляется по зеркалу воды на всем протяжении длинной бечевки.

Кажется, ничто на свете так вкусно не пахнет, как теплинка, маленький костерок из прибрежного тальника. Тонкие ветви ивы, полные скудных соков песчаной почвы, не сгорают без остатка, но скоро обугливаются. Слабый запах костра чем-то напоминает смолу, что-то похожее на аромат сена, что-то еще неуловимое, нежное, незабвенное.

На большой костер собирать дрова нам некогда. Мы едва успеваем вскипятить чайник, котелок с картофелем, кое-как похватать еды. О сне и думать нечего.

Столько у нас хлопот с тремя сотнями крючков!

Мы подъезжаем к наплаву. К острому концу этой красной палки на толстой веревке прикреплен мешок с песком, к тупому привязана бечевка от подпуска.

Илюшка привычным движением весла вылавливает наплав и укладывает его острым концом в нос лодки.

Стоим на якоре! Тогда я подхватываю бечевку подпуска.

— О-го! Есть.

Гиря утащена в сторону. Весь подпуск искривился. И что-то сильно толкает в руку. Крупна добыча!

Я осторожно веду, вынимаю подпуск. Илюшка держит наготове сачок.

Широкий, как поднос, лещ, с красными плавниками язъ попадает в его сеть. Ух, как толкается!

Но, вместо серебристой рыбы знакомых очертаний, вдруг черный

толстый обрубок непомерно сильно затрепыхался в сачке, а затем со стуком запрыгал в лодке.

— Илюшка, это что? — спросил я в ужасе.

— Н-не з-знаю, — испуганно пробормотал Илюшка, — эт-то н-не рыба!

Я сбросил в воду весь подпуск кучей, как он неразобранный был. Илюшка выкинул за борт наплав, схватил весла — и ладья наша понеслась к берегу.

Но едва лодка ткнулась в песок, мы поняли, что случилось.

Сом! Маленький сомовий детеныш, соменок, но все-таки сом!

Вот восторг, достигнутая мечта, счастье рыбака!

Неважное кушанье малолетний соменок: голова, хвост, костяк. Почти нечего есть. И не уха из него, а какой-то клей.

Выловленный в виде безобразной кучи подпуск мы распутывали, кажется, дней десять.

Да что там стряпня и путаница! Это все пустяки. Сом пойман! Вот какие мы рыбаки!

Теперь у нас разговор только о сомах.

— В омуте у Фрязина они всегда водятся, — объясняет Илюшка. — Поедем туда на неделю? Поймаем.

— На столько меня не отпустят. А там большие?

— Того и гляди, с лодки стащит. Дядю Никелю раз чуть не утопил. Дядя запутал веревку-то за руку, а тот тащит в омут. Еле вырвался. Тот так и ушел. Потом сколько лет видали — с крюком ходил.

— А ты большого-то видал?

— Вона. Когда угодно покажу. Только утром, на зорьке.

— Почему?

— В другое время солнце не так в воду светит. Не видать.

Не имея надежды поймать чудовищную рыбу, мы едем хоть посмотреть сома. С утра мы попеременно гребем, потом бечевой тянем лодку.

Красные полосы заката наполнили зеркало реки, когда, измученные, голодные, мы достигли цели своего путешествия.

Вот он, знаменитый омут!

Тут в реке обрывы, ямы, провалы, а в них опять ямы, черные окаменелые дубы торчат, коряги везде протянулись, точно кривые лапы. Сучья, обрубки, остатки всяких сплавов собирались тут в течение столетий и затонули. Вода застаивается, кое-где назад идет, в иных местах пена набилась.

В эту водяную трущобу никогда не проникает сеть рыбака! Ее на каждом шагу ждут зацепы, камни, гибель.

С лугов несется хриплый, яростный крик коростелей. В недалеком болоте сонно крикают утки. Спать после такой таски в течение целого дня хочется страшно, но некогда. Недолго сумрак летней ночи. Лодка наша бесшумно скользит над омутом. Когда же свет ударит в воду как следует?

Илюшка вдруг приподнимает весла.

— Видно, — шепчет он, — смотри, вон они.

— Да это бревна?

— Нет, сомы, двое.

Две огромно-длинные тени смутно колышутся у дна глубокой ямы.

Бревна, бревна там за что-то зацепились и не могут всплыть.

В этот миг ярко брызнули солнечные лучи в глубину воды и отчетливо стали видны чудовищные рыбы. Вот их плоские морды, вот усы шевелятся на этих мордах, вот черные спины!

— Тут гнездо у них, — шепчет Илюшка.

— Гнездо?

— Ямка у сомихи в песке выкопана.

— Да чем же она копает?

— Под мордой у нее жесткая кожа такая, она и трется по песку: водой относит — получается ямка; туда икру кладет. Потом болтаются оба над ямкой, сторожат. Отсюда они по всей реке расходятся.

Я жадно смотрел, как колебались на дне ямы чудовища.

— Б-ба-бах! — резко вскрикнул Илюшка и ударил веслом о борт лодки.

Сомы, две черные стрелы, мгновенно унеслись в темноту омута.

— Больше ничего не будет, — заявил, точно хозяин балагана, Илюшка, — домой поедем. Ну, стой, научусь व्यюна ставить, я вас тут всех переловлю!



ВОРИШКУ ОБОКРАЛИ

Речка, протекавшая через лес, совсем не замерзала никогда. Рыбачий закол перегораживал ее поперек — забор из нетолстых кольев, вбитых в дно и переплетенных ветвями. Вода, шумя и пенясь, пробивалась сквозь прутья, но рыба, поднимаясь против течения, пройти через преграду не могла, поневоле искала выхода через небольшое окно среди ветвей и, проскочив сквозь него, попадала в корзину, а оттуда проваливалась в сетку.

Рыбак приходил к заколу часто. Он пробирался к оконцу по верхушкам кольев, придерживаясь за те, которые повыше высывались из

воды. Отцепив корзину, он вытряхивал рыбу из сетки в мешок и уходил, не подозревая, что за ним следят хищные глазки.

Между корней огромной сосны, стоявшей у самой воды, в дупле корня, когда-то сожженного костром и сгнившего, в глубокой узкой дыре поселилась норка.

Она натаскала туда сосновых игл, устроила мягкую постель и, когда рыбак вынимал из закола рыбу, следила за ним, едва высунув нос из своего жилища.

Норка отлично плавала и умела ловить рыбу. Но стоит ли бегать и нырять за каждой рыбешкой, когда их груды в сетке за оконцем закола?

Хищница, ловко переступая по верхушкам кольев, пролезала в сетку, распоряжалась там, как у себя дома, и уносила в зубах трепещущую серебристую добычу.

На берегу, очистив до костей одну-другую рыбку, норка съедала их, отправлялась вновь в сетку закола и, принеся рыбку, прятала ее в запас, выкопав для склада порядочную ямку под ветвями прибрежного куста.

Иногда случалось так, что рыбак опоражнивал сетку рано утром, а днем рыба не попадалась. Тогда, напрасно пробежав по заколу, норка без хлопот доставала мороженую рыбу из своей кладовой.

Когда от мороза начали трещать, лопаясь, старые ели и сосны, норке, хоть и в пушистой шубке, все-таки стало холодно лежать на сухих иглах ее гнезда. Она решила сбегать за медвежьей шерстью в берлогу. Разбойница там однажды уже побывала и принесла оттуда теплый бурый клочок, нахально отгрызенный ее острыми зубишками от меха спавшего медведя.

В берлогу на этот раз норка не попала.

Кругом берлоги толпились люди с ружьями, там бегали, страшно лая, собаки.

Перепуганная норка стремглав примчалась к своему гнезду. Ничего, хоть и на холодных иглах, а все-таки тут безопасно, сытно. Вот сейчас — съесть рыбку-другую и спать: никто не увидит.

Норка подбежала к своей кладовой и запищала от бешенства. Все унесено. От рыбок, запасливо сложенных в дыре под ветвями, не осталось ни одной. На берегу от куста по свежей белизне снега во все стороны тянулись цепочками мелкие-мелкие следы. Кто, какие вору приходили и ушли?

Горностаи белоснежные, лишь с черным пятнышком на конце хвоста? Ласки, также белые без отметины, узкие, точно змейки? Или просто крысы, гнусные рыже-серые крысы, гнездящиеся по берегам? Кто украл? Как узнать, где их, воров, ловить, да и не все ли равно? Унесли, украли, сожрали наворованное богатство!

Пометавшись со злобным писком от одного следа к другому, голодная норка без всякой осторожности бросилась к заколу. Нет ли там рыбки в привычной сетке?

Но в тот миг, как она вскочила на обледенелый пояс ветвей, обвинявших колья, жгучий вихрь охватил, пронизал, ударил, сбросил ее мертвой в воду.

А за сосной стукнул выстрел. То рыбак, подметив валявшиеся по берегу объеденные рыбы кости, выследил и подстерег пушистого вора.



ДОМА



КОТ

Во время завтрака на террасу вошел неизвестный серый очень крупный, но поджарый и взъерошенный кот. Ему налили в блюдечко молока; он стал его пить, пожимаясь, вздрагивая, недоверчиво оглядываясь, и, не доев, ушел. На следующее утро повторилось то же. Затем кот несколько дней не показывался, задержанный, очевидно, какими-то делами. При следующем посещении кот, кроме молока, получил жареную рыбку, съел то и другое дочиستا и, повалившись на бок, тут же, на террасе, уснул. Проснувшись, он, потягиваясь и нюхая, пошел внутрь дачи. Подозревая, что он намеревается устроить обычную кошачью гадость, я шел за ним с арапником, готовясь наказать за попранное гостеприимство и выгнать навсегда вон. Желал ли он, прежде чем принять важное решение, проверить и окончательно выяснить, как живут в этом доме, или любопытствовал бессмысленно? Как бы там ни было, кот, обойдя все комнаты, ушел через кухню, а часов в девять вечера впрыгнул в форточку, как к себе домой.

За подобное нахальство следовало, конечно, наказать немедленно, но шел дождь, было темно, и я пожалел выкинуть кота, утешаясь соображением, что в случае чего я выгоню его завтра.

Утром моя совершенно еще мелкая детвора решительно мне заявила, что Вася — милый и остался у нас жить. Как так? Кто позволил? Почему это выяснилось? Вася? Да откуда он взялся, зачем он мне, этот

беглый кот, конечно, пачкунишка и, наверное, вор? Терпеть не могу вообще всю эту породу ластящихся подхалимов, все они — жулье, и — кто же будет спорить — именно от кошек самый гнусный запах в мире. Но что делать? Проклятый кот действительно ведь остался у нас жить и до конца своей жизни больше не ушел.

Поселившись целиком на моем иждивении, серый проходимец на меня не обращал никакого внимания, занявшись этими — как их там? — маленькими своими единомышленниками. С ними-то он очень скоро вошел в соглашение. На следующее же утро мальчишка, язык которого еще заплетался, привез ко мне кота в корзинке, пытаюсь объяснить, что поехали в Пепедух. Кто, куда? Ваня с Васей в Пепедух. Ну что ж, добрый путь. Кошачья повозка отправилась обратно. Серый плут болтается в корзинке, но сидит смирно-смирно. С двумя девочками он, наоборот, прыгал как бешеный, носясь за бумажкой, нацепленной на нитку, — игра неглубокая по замыслу, но без осечки возбуждающая веселый визг и хохот.

Кот не пытался ничего украсть и нигде не пачкал. За что его гнать? Откуда он взялся, осталось неизвестным. Несомненно, что к нам он явился не на заре своего существования. Нет, кроме поджарого и потрепанного вида, свидетельствующего о пережитых бурях жизни, самое его поведение доказывало, что это опытный кот. Через два — три дня после того, как он решил жить у нас, он задал страшную трепку соседнему коту, осмелившемуся просунуть нос на террасу. Ах, бродяги! Он им покажет, как являться в дом, где есть свой кот. Собаке мясника, загнавшей его на дерево, он также не спустил: на дерево-то он вспрыгнул, но, обернувшись, таких надавал плюх по оскаленной морде, что пес убежал с визгом. Котенок так вести себя не мог. Вася? Почему? Впрочем, если назвать его Навуходоносором, будет ли лучше? Пусть Вася. Он выцвел, вылинял, и блестящая серая шерсть его раскрасилась поперечными темными полосами: тигр, тигр!

— Откормился, чистяк, — говорила кухарка, лаская его и угощая разными разностями.

Везло же проходимцу! Квартиру, стол и ласковое обращение приобрел совершенно ни за что.

По утрам меня будить, вместо троих, стали являться четверо. Однажды трое завизжали:

— Васька прыгнул к папке!

Звучало немножко обидно: выходило, как будто и кота и меня считали в одном чине. Но зная наверное, что злого умысла тут нет, я не обиделся и — человек слаб — погладил пушистого плута, для чего-то сказав:

— Вася!

В ответ совершенно твердо и отчетливо послышалось:

— Мяу!

Тут восторг шайки достиг своего предела в крике:

— Вася с папкой разговаривает!

Да это что же такое, ведь это действительно разбой! Уже, значит, мне кот делает некоторое одолжение, едва ли не честь.

Я за такие шулки, на всякий случай, выгнал их всех четверых из комнаты, чтобы все-таки знали, с кем дело имеют.

Обмен приветствий между мною и котом, однако, установился ежедневно и так твердо, что на него вскоре перестали обращать внимание. А он заслуживал высшей степени удивления. На зов по имени или на обычное «ксс, ксс!» кот бежал охотно, мяукая слегка и мелко несколько раз подряд, или же только делал вид, что мяукает, то есть молча раскрывал рот. Если же я обращался к нему со своим «Вася», кот отчетливо один раз отвечал «мяу!» Тут своего ответа он не повторял никогда, сколько раз я его ни спрашивал. Отлучившись из дому на несколько часов, я считал долгом учтивости вновь приветствовать кота, и плут безукоризненно вежливо без отказа отвечал:

— Мяу!

Любимым удовольствием кота было забраться в корзинку со стружками из-под аптекарских товаров. Едва дождавшись, чтобы из нее вынули пузырьки и пакеты, кот вскакивал в корзинку и, закрыв глаза от наслаждения, громко мурлыкал.

Совсем спать он, впрочем, тут не оставался, а уходил в свою корзинку в платяном шкафу — место, им выбранное, одобренное, отвоеванное и удержанное до конца жизни. Захлопнутую дверцу шкафа он очень мило открывал лапой, а если шкаф случайно запирали, Вася усаживался около и мяукал плачущим голосом: нельзя было не понять, чего он хочет.

По дому Василий расхаживал теперь важно — тигр, тигр! — шагом, подняв хвост трубой. Лежа на боку на половике посредине комнаты, он только поглядывал на проходящих. Ну-ка, кто, злодей, наступит на такого хорошего кота? Одним из замечательных номеров было завертывание кота в этот самый половик. Получалось нечто вроде пирога с начинкой из живого кота, позволявшего вертеть его как угодно. Но в тот миг, когда две кухарки-девчонки собирались окончательно закрыть пирог, — в последнюю узенькую щелочку неуловимым движением выскальзывала вся начинка.

И тигр, ужасно шипя, удирал при восторженном хохоте своих сообщников.

Мыши в доме случались редко. Кот ловил их со страстью неукоснительно и, ввиду недостатка, приносил их еще откуда-то для игры. В это время с горящими глазами, в особом возбуждении, красавец кот имел великолепный вид. Конечно, мышей он не ел: очень ему нужна такаякая дрянь. Больше всего он любил кушать жареную салаку и избытки ее, которых съесть не мог, уносил и закапывал в саду. Бедные кошачьи мозги!

Умный кот начисто забывал все свои запасы: никто не видел, чтобы когда-нибудь что-либо он доставал из своих кладовых.

В доме между тем появилось новое существо. Я предлагал назвать

его в честь любимого кота Васей. Почему-то предпочли дать ему имя Володи, что на мой слух звучало хуже, а оснований имело еще меньше. Когда Володя (пусть, пусть!) стал ползать, разбойничья шайка избрала его предметом для издевательств. Девчонки на пути ползуна ставили коробом газету, под которую тотчас забирался Васька. Едва маленькое существо подползало к газете, оттуда вдруг с хищным шипением, ужасно изогнув спину, выскакивал тигр и скакал этак боком, боком, боком. Крошечный мальчишка, запрокинувшись, ревел неистово, а окружающие хохотали: невозможно было не смеяться. Однако человек, хотя бы еще только ползающий, долго ничего не боится: Володька очень скоро принялся таскать тигра за хвост; причем не было случая, чтобы страшный зверь его оцарапал, хотя плюхи мягкой лапой задавал ему часто.

Подростая детвора стала заниматься более сложными играми, чем бумажки на нитке.

Вася ходил за всеми, но, видя, что им не интересуются, принимался играть один. Он гонял и ловил бумажку, носился по комнатам, пытался сам завернуться в половик, выбегал в сад и взбирался на дерево, как будто в ужасе спасаясь от невидимых врагов. Меня он не только провожал до калитки, но неизменно встречал, хотя иногда я приезжал домой в четвертом часу утра. И, не говоря о лете, осенью под дождем, зимой в мороз из-под навеса над колодцем при моем появлении бесшумно прыгивала и мелькала навстречу серая тень, и около моих ног мурлыкала пушистое существо с блестящими глазами и хвостом трубой.

— Вася!

— Мяу!

— Вася! Ну, скажи хоть разок еще. Ну, Вася!

Ни за что, никогда. Мурлычет, прижимается головой, но — сказал и кончено, больше ни слова. Этаким кремений! Он долго жил, добродетельный, благовоспитанный умница кот, окруженный любовью и, можно сказать, всеобщим уважением и вдруг... украл телячью ногу.

Да, средь бела дня, почти на глазах у обожавшей его кухарки украл, почти ограбил. Ужас, позор, загадка! Преступление стояло во всей отвратительной наготы: Васька, рыча, как лютый зверь, сидел в чуланчике под лестницей со своей добычей, значительно превышавшей его величину и вес. Как он ее уволок, зачем? Он даже не откусил ни кусочка, он всегда был сыт свыше меры. Уж не взбесился ли он? Не слыхано, однако, чтобы бешеные кошки воровали телячьи ноги. Я спокойно взял у рычащего тигра его добычу, отнес злосчастную телятину в кухню, а тигра изругал всячески, что не произвело на него ни малейшего впечатления. Я принес, показал и дал ему понюхать арапник; он равнодушно отвернулся: инструмент, ничего не говорящий ни его уму, ни шкурке, знакомый предмет. Очевидно, этот преступный порыв был почти болезненный припадок, отзвук бесконечно далеких, быть может, в самом деле тигровых лет, бессознательное движение воровской породы.

Годы шли. Кота возил в корзинке уже другой мальчишка. Наш Вася, несмотря на кошачью старость, которой несомненно он достиг, по-

прежнему был весел, учтив, играл с бумажкой и вспрыгивал с притворным ужасом на деревья. Весьма вероятно, что при его хорошем здоровье и крепком сложении он прославился бы как исключительная знаменитость выходящего из ряда кошачьего долголетия, но случилось событие, потрясшее, подкосившее жизнь Васи: вся наша семья уехала из дому на два месяца. Ни в пище, ни в ласке недостатка Вася не имел, оставшись на попечении обожавшей его кухарки, но скудный мозг его не осилил исчезновения привычных условий жизни. Для начала кот немедленно после нашего отъезда пропал на несколько дней. Искал ли он нас где-то, скитался ли в тоске по лесу?

Он пришел домой исхудавший, скучный, вялый, есть стал, но не очень жадно, все спал; предложенную мышь взял, погонял немного и бросил. Жизнь его сломалась, он не поправился.

Когда мы вернулись, он встретил даже ближайших приятелей своих без особого оживления.

— Вася!

— Мяу!

Это было сделано как следует, повторялось ежедневно. Играть, однако, он перестал и, когда надоедали ему слишком, он не дрался, не давал мягких плюх, а вздыхал — бедный, старый кот — и уходил.

Вася наш стал скучным грязным стариком. Спать он полюбил на плите и дожидаться не мог, когда перестанут на ней готовить. Торопясь на нее вскочить, он часто подпаливал свою шубку, самые разводы которой как-то потускнели. Тигр исчез, остался порывевший, облезлый старый кот. Он раза два даже напачкал на плите, прямо тут, где спал. Ему не сказали ни слова за этокое безобразие. Как же не скрыть, не замолчать старческого позора кота, честно прожившего в доме двенадцать лет? Кое-как проскрипел бедняга зиму. Весной мы опять уехали, и этого удара старый кот уже не перенес: он ушел из дому и не возвратился.



ФАТЬКА-ГЕРОЙ

Полное имя собачонки — Фатима. Хозяев у нее много, и все кличут ее по-разному: Фатимка, Фатишка, Фатька.

Тот, кто больше всего занят Фатимкой, Димка, прожил на свете

всего четыре года. Язык у него еще заплетается, не все буквы выговаривает и поэтому свою собаку Димка зовет: Хватька.

Они вдвоем, Фатима и Димка, находятся при всех домашних делах и полевых работах. Фатима всюду сует свой нос, все нюхает, часто лаает. По-видимому, для нее нет никакой разницы между овцой и коровой, курица или гусь — ей также все равно. Собак она не может видеть равнодушно: визжит, рычит, бежит драться.

Димке любопытно все. Но больше всего его интересует лошадь. Как она фыркает, когда ест, как слушает, то одним ухом водит, то другим. А хвостом обмахивается со свистом, точно веником. Серко возит бочку с водой, телегу, дрова, тащит по полю плуг. Не пересчитать, сколько работы делает лошадь. Самое удивительное животное!

За обедом Димка вдруг выпалил:

— Запрягать Хватьку буду.

— Во что? — спросила мать. — Повозку-то собачью трудно достать.

— Ты не вздумай верхом на Фатиму сесть, — сказал отец, — она маленькая, ты, тяжеляк, ей спину ломаешь. погоди до зимы, тогда салязки пристроим.

Димка покраснел и замолчал. По правде сказать, он пытался оседлать свою собаку, но та вырвалась, опрокинула мальчишку и убежала.

Со сбруей тоже плохо. Не только ремешка какого-нибудь, веревки никто не дает на собачью упряжь. Только смеются. Однако Фатька скоро прибежала в просторном ошейнике.

— Это зачем же мочалки на собаку навечены?

— Хомут, — объяснил Димка. — Хватька, тпру-у!

Собачонка подбегала и, виляя хвостом, покорно становилась около своего повелителя. Димка кричал на нее, как на лошадь, подносил ей для питья пустой бурак и помирал со смеху, когда Фатька, ничего не найдя в берестяном ведерке, фыркала и трясла ушами.

Во время сенокоса на лугу, после закуски у костра, Димка закричал:

— Эй, Хватька, пошла сюда! Давай ноги!

Фатька подбежала. Димка взял ее задние лапы, приподнял и басом приказал:

— Но-о-о!

Собака пошла на передних лапах, двигая задними в руках мальчишки и помахивая хвостом перед его носом.

— Это еще что? — даже завизжали сестры. — Куда вы это? Ха-ха-ха!

— За сеном поехали, — важно ответил Димка.

Под общий хохот они удалились, — собака, идя почти вниз головой, а Димка, действуя ее задними лапами.

Что ж делать, приходится изобретать, когда хочется ездить, а ни лошади, ни повозки нет!

По словам Димки, он на Хватьке ездит за покупками в город, пашет, боронит, возит снопы. Для тех, кто игры не знает, вид один: собачонка идет на передних лапах, а задними управляет Димка.

Фатиме все эти работы также представлялись одинаковыми и не очень нравились. Она понимала только, что надо ходить на передних лапах: Димке для чего-то нужна такая забава. Когда игра ей надоеет слишком, ничего не стоит выдернуть свои задние лапы. Огорченный кучер валился на землю, а собачонка убегала. Ссорились они ненадолго. Снова слышен крик:

— Хватька, давай ноги!

И опять едут за водой, за песком, за всем, что вздумается Димке.

Очень скоро не только свои домашние, но и соседи перестали обращать внимание на такие поездки. Прискучили они и Димке. Пошутили — и бегут.

Фатима, вероятно, осталась довольна: попробуйте-ка походить этак вниз головой. Тоже удовольствие.

Но Димке нравится, что его собака все-таки вроде лошади. Он продолжает понукать Фатьку по-лошадиному, кричит ей «тпру». И та бегит, останавливается, как требует приказ.

За брусникой идут друзья — Димка со своей Хватькой. Жарко, душно. Тяжко пробираться через обсохшие кочки. По мху еще трудней ступать, точно в подушке вязнут ноги. Пить страшно хочется. Грязи много; она коричневая, гадко пахнет, а воды нет. Вот на вырубке сейчас за дубовым пнем в яме ключ холодный, прозрачный. Мамка не велела к ключу в промоину лазить, говорит: утонешь. Да что такое? Там весь прудик-то с кадущку величиной! Какая там беда? Конечно, можно напиться в припадку из ручейка, сверкающего маленькой струйкой по песку между корнями. И собачонка тоже там полагает. Только это несколько не интересно. Лучше зачерпнуть ведерко, поднести, как лошадке, и сказать по-папиному:

— Го, го, Хватька, о-го-го-го!

Пушистая лошадка, повиливая хвостом, стоит тут же и внимательно смотрит, что делает хозяин. А мальчик тянется к кружку воды, блестящему в темной яме, и вдруг — бух туда, только брызги полетели!

Собачонка даже залаяла от испуга.

Мальчишка, отдуваясь, встал. Ну, важное дело, окунул: глубина небольшая, едва по грудь. Но вода холодная как лед, и выбраться из нее невозможно. Ухватиться не за что, скользлит обрывистый скат.

Побрыкался, поцеплялся мальчишка — нет, падает назад, нет сил вылезти. Завыла собачонка, видя, что дело неладно.

— Хватька, — в ужасе закричал Димка, — беги домой! Зови папу! Ой, пропадаю!

Фатима, взвизгивая, понеслась было к дому, но вдруг остановилась, бросилась обратно к промоине.

Пронзительным визгом там заливался Димка. Он все всползал на глинистый край ямы и опять обрывался назад во взбудораженную всду.

— Ой! — хрипло визжал он. — Ой, спасите! Караул! Мама! Мама! Ой, скорей! Тону-у-у!

Увидев собачонку, Димка перестал цапаться за голый берег и изо всех сил закричал:

— Хватька, пошла сюда! Давай ноги!

Собака прыгнула в яму, подскочила по скату почти к воде, привычно повернулась хвостом к своему кучеру, и у мальчишки под руками очутились знакомые лапы, он их схватил. Тогда, напрягая спину, вцепляясь в скользкую землю когтями передних лап, Фатима потащила в первый раз в своей жизни груз.

— Но, но, но-о! — орал Димка.

Ему немного было нужно: лишь бы ухватиться за что руками, хоть чуть-чуть упереться ногой. Прокарабкался он, держась за собачьи лапы, шаг, два и выпустил лапы, пополз на своих четвереньках, вылез из ямы, стал на ноги. Поплакал со страху Димка. Гладил, целовал Хватьку. За ягодами не пошли. Домой вернулись.

— Что-то плохо высох, мокрый недавно был, — сказала мать, ощупывая Димку, — и в грязи весь вывалился. Ну, признавайся, куда провалился?

Пришлось рассказать все происшествие, просить прощения за то, что лазил в промону.

— Да как это ты? — перебивали рассказчика. — Как же ты не пропал?

— На собаке выехал, — с важностью отвечал Димка, — у меня Хватька ученая.

Фатька махала хвостом, понимая, что говорят о ней.



МОИ СОБАКИ

На двенадцатом году жизни я начал охотиться, воюя для того ружье старшего брата, очень скоро попался на месте преступления, был судим семейным судом и получил строжайший выговор с указанием на всю гадость моего поступка. Впрочем, судьи, в том числе и моя мать, все до одного были страстные охотники. Они знали, что преступник,

пошедший по этой дорожке, неисправим. Поэтому мне вручили в собственность ружье со всеми принадлежностями: охотья — делать нечего, — но не воруй.

Увы! Охота без собаки на уток однобока, а на болотную и лесную дичь хромает на обе ноги. И я подачками сманивал за собой Бокса, старого сеттера моего отца. Четвероногий плут делал вид, что он меня слушается, до тех пор, пока у меня оставались для него лакомства. Он шел со мной, отыскивал дичь и делал стойку. Но убедившись, что он все угощения съел и у меня больше ничего нет, уходил домой равнодушно и самостоятельно. Старый жулик на мою охоту смотрел сквозь пальцы: так — шалости, контрабанда.

Затем я покупал копеек за двадцать, нанимал за пяточки собак, подманивал бродячих. Случалось попадать на мародеров, нахально пожиравших убитую мною дичь. Один гордон, презренную рожу которого я ненавижу более сорока лет, почему-то усвоил вкус отгрызать только головы у моих уток. После выстрела исчезало все: нет ни утки, ни собаки. Прислушиваюсь — хруст и чавканье в трущобе. С опасностью для жизни лезу туда через трясину, и на широкой кочке подлая морда облизывается над безголовой уткой!

Что делать? Приходилось якшаться с подонками собачьих пород. Они умели чутя, по ним можно было хоть кое-как подготовиться к взлету дичи, а шататься вслепую уж очень тяжело.

Из множества случайных собак, с которыми я охотился всю юность, подавляющее большинство годилось только на виселицу, но немногие из них не лишены были некоторых достоинств. Среди них Кронид, беспородный песик, слегка напоминавший обликом пойнера, явился яркой личностью, определившей мое мировоззрение.

Кронид я купил за сорок пять копеек у пьяницы-охотника, который бил его чем попало, за что попало и даже ни за что и, конечно, вовсе не кормил. В избушке, где я жил на охоте, Кронид получил соломенный матрасик, обильный корм, и никто его не ударил. Казалось бы, — не житье, а рай. Кронид убежал, как только я оставил его одного. Часа через два тот же охотник, качаясь и хихикая, предлагал мне купить собачку.

— Да ведь это Кронид?

— Правильно. Кронька, он самый.

— Так я же его купил?

— В-верно! Только он, значит, убежавши опять ко мне и, значит, мой.

— Сколько же за него?

— Полтинничек. Да еще тогда пяточка недоставало. За вами, значит, хи-хи!

Я заплатил. Кронид дня три отлично исполнял свои охотничьи обязанности, затем исчез. Пьяница опять привел его и опять продал. Вот нашел дурака! Что ж, у меня фабрика полтинников, что ли? И обиднее всего: что за сласть Кронидке там, у пропойцы, где бьют и не кормят?

Я не спускал глаз с доброго, очень послушного песика и скоро подсмотрел разгадку его исчезновения. Заслышав протяжный сильный свист, несшийся откуда-то с огородов, Кронид даже бросал чашку с коромом, убежал и пропадал. Какой смысл его бить и за что?

Я заплатил еще полтинник и занялся Кронидом. Я гладил, кормил его, поминутно называя по имени, играл, возился с ним, твердя все время: Кронид, Кронид, Кронид. Он лежал на солнце перед избушкой, когда раздался призывный свист, и уже вскочил, собираясь бежать, но я высунулся из окошка и закричал:

— Куда, Кронид? Назад, Кронид!

Он дрожал, поглядывая в сторону свиста. Я выбежал к нему, приласкал его, поддержал его колеблющуюся темную волю. Он остался.

Власть свистка над ним кончилась, прекратилось и выманивание полтинников, но мне этого уже было мало. Я призвал бывшего хозяина моей собаки и предложил подойти, свистать, звать как угодно, и когда Кронид пошел было на зов, я только сказал:

— Кронид, ко мне! Домой, Кронид!

Он вернулся, виновато виляя хвостом, к моим ногам. Пьяница с ругательствами ушел, заявив, что Кронька от рук отбилась. Он был мой.

Поряdochная легавая собака должна только отыскивать дичь, в виде некоторой уступки разрешается ей и подавать птицу, но зайца даже замечать она не имеет права: заяц — дело гончих. Кронид беззаконно и очень мило совмещал достоинства всех пород. Он чрезвычайно уродливо стоял над дупелем, добросовестно ловил подбитую утку и настойчивым и мерным лаем гнал зайца. При мягком его характере мне такая разносторонняя талантливость очень нравилась; несомненно, мы проохотились бы вместе ряд весьма приятных лет, если бы в первую же после нашего знакомства зиму его не съели волки.

Я пожалел его искренне, тем более, что встал перед задачей: мне необходима моя собственная, настоящая серьезная собака. К тому времени мне шел уже девятнадцатый год, я надел студенческую фуражку и знал охотничью науку много лучше тех, которые были прописаны в моем аттестате зрелости. На этих основаниях один старый охотник удостоил меня чести: подарил мне щенка из ожидавшегося потомства его знаменитой Дианы.

Если бы изучению юридических наук, для чего я записался в университет, я посвятил столько забот, хлопот, внимания и труда, сколько отдал воспитанию своего щенка, то, несомненно, я сделался бы замечательным законоведом. Но судьба оставила меня при собаках.

Мой Дик, родившийся в самом начале весны, рос в наиболее благоприятных условиях: все время на ярком солнце среди густой травы. Я приготавливал для него тщательно отсеянную костяную муку, кормил его свежими сырыми яйцами, растирая их скорлупу в порошок, варил для него морковь.

— Глупостями занимаетесь, — ворчал иногда старый охотник. — Яйцами собак не кормят. Куриного вора готовят.

Нет, мой Дик никогда ничего не украл, а что мое кормление не было глупостями, стало очевидным очень скоро. Дик живо перерос всех своих братьев и сестер, шутя отшвыривал их от чашки с кормом и первый уморительно залайл басом, когда те еще только пишали.

Богатырь, красавец, умница, мой Дик на болоте оказался дурак дураком. Он взял сунутого ему в рот еще теплого дупеля и весело понес за мной, как тряпку. Никаких чувств!

— На осину! — злорадно сказал старый охотник, когда я с ужасом поведаль ему о первом выступлении Дика. — Вырастили по-ученому орясину. Позор для всего рода моей Дианы!

— В цирке можете свою собачку показывать, — ехидно утешали меня другие, — большие деньги составите.

Действительно, Дик по моему знаку мог снять шляпу с кого угодно. Он отлично изображал, как собака с отвращением отказывается от лакомства, предлагаемого старухой (из левой руки), и радостно хватает тот же кусок, если сказать, что он от молодой красавицы (правая рука). Дик устраивал целые представления, показывая, как собака лежит мертвой, хотя муха вьется около ее уха, а осы жужжат у ее носа этак: дзынь-дзынь. Приходит даже бык и собаку рогом в бок — тык! Нет, издохла собака. Вдруг является волк и собаку за хвост — толк!.. Ну, тут собака вскакивает с веселым лаем!

Из скромности я умалчиваю о том, кто исполнял ответственные роли мух, быка и волка; зрители же всегда с восторгом приветствовали главного актера, выносившего на плечах всю пьесу.

За зиму Дик окончательно сложился и окреп, совершенствуясь в науках.

Он отыскивал и приносил щетку, которой вычесывали его шерсть, и, толкая в колени головой, так настойчиво, так ясно смотрел умными глазами, что ни у кого не хватало духа отказать такой милой собаке в ее просьбе: все брали щетку и гладили ею Дика. И короткая гладкая шерсть его всегда блестела как шелк. Дав Дик у в рот бумажку, я говорил:

— Снеси письмо маме!

Он ходил за ней, тыкаясь холодным носом в руки до тех пор, пока она не брала бумажки. Иногда, наоборот, я кричал:

— Дик, принеси записку!

Он опрометью кидался к маме и не успокаивался, пока не получал бумажки.

— Дрянь у меня собака, — говорил я мрачно, — тыфу! Вот какая собака. Повешу я собаку, прогоню, продам собаку! У-у-у!

Я был с самым печальным видом. Дик смотрел на меня недоумева. Это повторялось очень часто и довольно долго.

— Будет выть, — уговаривали меня домашние, — повыл и будет: надоело. У собственной собаки хлеб отбиваешь.

И вот однажды, едва я завел похоронную волынку о продаже подлой собаки, Дик жалобно взвыл. Я расцеловал его, накормил всякими ла-

комствами и сплясал с ним пляску диких, что доставляло ему величайшее наслаждение. С тех пор номер с вытьем над продажей собаки проходил без осечки и неподготовленных зрителей ошарашивал наповал.

Однако в поле Дик продолжал держать себя как болван. Гремящий трепет тетеревиного взлета не производил на него никакого впечатления. Утка, запах которой, по словам охотников, так горяч, что перебивает у собаки чутье к более благородной дичи, утка, ни живая, ни мертвая, ничуть не волновала Дика.

Со стыдом, с отвращением я нанимал тайком всяких подозрительных личностей собачьего рода, брал на охоту заведомых негодяев-собак: воршишек бродяг и бездельников. Что же скрывать? Я был с ними груб — ходи тут с разной дрянью, а мой чудесный Дик, разве только говорить неумеющий, занят тем, что подает поноску уличным мальчишкам. Это была его страсть, род сумасшествия, худший его порок, от которого отучить его не удалось и который давал столько поводов для насмешек.

Я страдал глубоко, тайно. Уже завелась некая Лэди, светло-шоколадная собачка, нанятая на улице. Она по болоту неслась так, что за ней надо было бежать, неслась без стойки, невежественно размахивая хвостом, но, приближаясь к бекасу, она очень выразительно оглядывалась, как бы говоря: «вот, вот он тут!» В этом была своеобразная прелесть, и я... и Лэди... и мы с ней... Ну, словом, — этакий стыд! — шли переговоры о приобретении Лэди в мою собственность, да, да!

С Диком я купался, гулял. Картина, а не собака! Но червяк обманутых надежд точил мне сердце: балаганный пес, не способный на благородные охотничьи чувства. В глубине моей души загнездилась глухая неприязнь. На закате жаркого июльского дня я (вернувшись с утренней охоты. О, Лэди!) безнадежно гулял с Диком под деревней и, направляясь домой, по привычке свистнул. К удивлению, Дика в тот же миг у ноги не оказалось, тогда я оглянулся и застыл. Дик стоял на стойке! Я, затаив дыхание, подошел к нему — сомнений нет. Он мелкой напряженной дрожью дрожал от головы до кончика хвоста, как-то позеленевшие глаза его блестели, ноздри жадно втягивали воздух. Я проследил направление его пылающих глаз. В полузакрытой скошенными стеблями ямке, смешно приподняв короткий носик и, видимо, ничуть не подозревая висевшей над ним гибели, спокойно сидел перепел.

Сам замирая от смутного волнения, я огладил Дика, успокоил его, отозвал и побежал с ним домой, там схватил ружье и вернулся на то же место. Тот ли перепел продолжал сидеть в своей ямке, подвернулся ли другой, я не знаю, но Дик отчетливо, по всем охотничьим законам повел, сделал стойку и по приказу «пиль!» шагнул вперед. Перепел вылетел, упал убитый, и над ним, над мертвым, опять дрожа, стал Дик.

Болван, циркач, балаганный пес, весь позор, все муки — все отлетело в прошлое. Налицо была во всем великолепии могучая охотничья собака. Какая дверца внезапно открылась в сознании Дика? Откуда вдруг налетела волна страсти, потрясшей все его существо? Где, почему

таились в собаке три года охотничьи чувства? И почему дремавшую страсть пробудила ничтожная пичужка в сухой ямке жнивья?

Все это собачьи тайны.

После происшествия с перепелом Дик повел себя так, как будто он всю жизнь только и делал, что охотился. И он всех их видел, всех знал, со всеми их уловками и хитростями имел дело, — так он за них принылся, старый опытный пес.

По тем выкрутасам, какие выделявали задние лапы Дика, я видел, что из кочек болота не бекас, сверкая брюшком, вырвется с веселым чмокающим криком, а вылетит, степенно зашелестев крыльями, задумчивый серый дупель. Утки Дика не разгорячили как-то там особенно, ничуть не нарушили его чутья. Обеспечившись двумя — тремя криками, мы прямо из болота шли искать тетеревей, и, пожалуйста, хоть за деньги нас показывайте: так все делалось точно, отчетливо, мастерски. Если мне случалось стрелять по высоко летящей утиной стае, и Дик после выстрела кидался куда-то бежать, я садился и спокойно ждал, что он принесет мне утку: значит, я попал, хотя думал, что промахнулся. Он видел много лучше меня. И куда он бегал за улетевшей стаей? Для утки, подбитой явно, спасение было немыслимо, он ее настигал.

Как? Случайно мне удалось увидеть. Я сшиб красавца селезня, летевшего высоко над чистым озером. Он упал на спину, голова его, запрокинувшись, окунулась в воду, и было видно, как слегка шевелятся красные лапы, но едва подплыл к нему Дик, селезень нырнул. В то же мгновение исчез и Дик. Я в ужасе смотрел на круги, расходящиеся по зеркалу воды. Утонула собака. И что предпринять? Проклятый селезень, и что за несчастная мысль стрелять над озером!

Вдруг из зеркала, ясно освещенного розовым закатом, с плеском вынырнула голова Дика с селезнем в зубах и, осмотревшись, с фырканием поплыла к берегу.

Э, нет, утки-селезни, от этакой собаки, которая ныряет, вам никак не уйти! И когда Дик, встряхнувшись, положил селезня к моим ногам, мы, расцеловавшись, тут же сплясали пляску диких, и не по-домашнему, то есть щадя окружающие предметы, а по-настоящему — так, как, надо полагать, плясал ее первобытный человек, едва успевший подружиться с волком.

После того как Дик «пошел», для меня отпала необходимость в самой тяжелой и черной работе. Для чего мне лезть по трясине, по кочкам кругом лужи! И лазить по зарослям, шарить по кустам я не желаю, вытаптывать по всем направлениям болото — не мое дело. Я останавливаюсь на краю и говорю своей собаке:

— Ну-ка, брат Дик, поищи, осмотри! Какие они там такие сидят, а? Шугни-ка их сюда!

Я не знаю, конечно, в каком виде эти или приблизительно такие слова входили в сознание Дика, но что он их в точности исполнял, — это вне какого бы то ни было сомнения.

Дик шел, куда я указывал, вынюхивал, высматривал и, весело пома-

хивая хвостом, пробежал туда и сюда, как бы говоря своим беззаботным видом: «Смотри: пусто, тут никого нет, никакой осторожности не требуется!»

А если кто-нибудь тут есть?

Тогда он показывал это по-разному. В тумане утренней зари на ягоднике, осыпанном росой, Дик неожиданно замер на стойке, сгорбился как будто в ужасе, и вся шерсть его поднялась дыбом. На медведя напоролся, что ли? Вдруг: бу, бу, бу! С громовым треском взорвался глухарь. Птичка тоже! Весит чуть ли не полпуда и летит бомбой. Это какое угодно воображение взволнует, всякую прическу испортит.

От простой работы Дик без всякого усилия шагнул к вершинам охотничьего искусства.

Промотавшись значительную часть утра в поисках тетеревиного выводка и убедившись, что он переместился, я прилег под кустом и с некоторой досадой сказал Дик, что я устал, он же — не собака, достойная уважения, а не годная ни на что свинья. Такое запутанное ругательство он, очевидно, не мог понять и, не опасаясь, что я его обидел, я стал сладко дремать под шумок старых сосен. Вдруг чувствую, что холодный нос Дика тычется мне в лицо. И лизаться лезет, свинья! Да пошел вон, что за нежности собачьи? Он отступает, бежит в лес, видимо беспокоится, возвращается и опять лезет с нежностями. Ну что привязался? Чего тебе нужно? Видя, что я встал, он, радостно размахивая хвостом, бежит, но останавливается и смотрит, иду ли я за ним. Ах, вот что! Тогда уже я понимаю, беру ружье; мы идем, находим выводок, громим его и, набив сетку молодыми тетеревами, пляшем нашу любимую пляску.

Раз в жизни я видел собаку, которая в подобных случаях прямо схватывала своего господина за полу, за рукав, за штанину и тянула с собой. Такому приему я пытался обучить Дика; он почему-то не пожелал им воспользоваться; я не допускаю, чтобы он не понял, — Дик, понимавший все. Например, зимой вечером, сидя у своего стола, я читал, а Дик спал в углу той же комнаты.

Вдруг я тихим, спокойным голосом спрашивал:

— Нет ли тут где-нибудь хорошей, умной собаки?

В тот же миг из угла слышалось короткое, частое похлопывание хвостом по подушке: есть, есть тут такая собака.

— Подошел бы кто-нибудь, — продолжал я равнодушно, — приласкался бы. Скучно так.

Тогда около меня неожиданно являлась собачья голова и ласково толкалась мне в колени.

Уходя в город, я почти всегда брал Дика с собой, но иногда приходилось оставлять его дома. Тогда я при выходе говорил:

— На место! Понял? На место!

Он огорчался чрезвычайно, но понимал, несомненно, понимал ясно: он оставался дома. Если же я таких слов не произносил, а уходил потихоньку от Дика, то где бы я ни был в городе, мой четвероногий друг

отыскивал и настигал меня непременно. Иногда он не мог проникнуть в дом, где я находился. Мне говорили:

— Там ваша собака у крыльца.

Я выглядывал в окно и видел, что Дик сидит у двери спокойно и твердо: он знал, что мой след кончается тут, у этого дома, и ждал. Несколько раз я пытался его обмануть, уйдя, например, через сад в переулок. Напрасно. Дик, устав ждать, шел широким кругом около предательского дома, все-таки пересекал след обманщика и догонял его, всегда радуясь и ласкаясь. Он все, все понимал, мой милый, верный друг! Вот его некоторые чувства и способности остались для меня непостижимыми. Однажды, возвращаясь с очень отдаленной охоты, я, подходя уже к городу, заметил, что потерял свои ключи, связку ключей на стальном кольце. Чрезвычайная неприятность, сколько замков придется взломать! Сейчас переодеться даже не во что: белье заперто. Я тут припомнил, как что-то выскользнуло у меня из кармана, когда я сел отдыхать по выходе из болота: там и вывалились проклятые ключи. До того места несколько верст, ночь, болото. Мыслимо ли найти?

— Дик, — сказал я почти безнадежно, — я потерял. Поищи, братец! Я потрепал его по голове, и при слове «потерял» он ринулся в темноту.

На горé в городе мелькали, маня, огоньки. Там ждали меня чистая постель, вкусная еда, втройне очаровательные после целого дня лазанья по болотам. Уйти скорей домой, — Дик ведь все равно найдет дорогу? Нет! Дик, очевидно, мне ничего не скажет, но слишком низко бросить его одного в темноте болота; не может быть, чтобы он этого не почувствовал, когда, вернувшись, меня здесь не найдет.

Я в тучах комаров сидел у дороги голодный, мокрый, грязный до ушей. С высокой колокольни собора на горé два раза летели унылые звуки отбиваемых колоколом часов и замирали где-то далеко за туманной поймой. Вдруг шлепанье быстрых лап в придорожной грязи, стремительные прыжки и фыркание, и Дик, задышающийся, радостный, гордый, и ключи у него во рту, наполненном пеной.

— Ну, Дик! Ну, милый! — твердил я в восхищении. — Ну как ты мог их найти? Ну, прелесть моя, как ты нес их? Железо в зубах ведь так противно!

Я положил ружье, и, несмотря на темноту, мы немножко прошлись с Диком в дикой пляске: так у нас с ним полагалось в исключительных случаях жизни. Отплясав, мы расцеловались и пошли домой. Дик бежал впереди с самым равнодушным видом.

Откуда он взял сил во весь мах нестись два часа после целого дня беготни, как ухитрился найти ночью в болоте ключи, нечто маленькое, по-нашему, по-человечьи, даже не пахнущее ничем? Это опять собачьи тайны.

Слава о необыкновенной, удивительной собаке разнеслась скоро и широко. Всех наших завистников и врагов, когда-то промывавших кости балаганному псу, мы стерли в порошок. После многих и изуми-

тельных подвигов твердо было установлено, что где прошел Дик, там искать более нечего, и, наоборот, Дик может найти многое после разных этаких чистоплюев, имеющих дипломы и медали.

Порядочная легавая собака не имеет права лаять во время охоты и не смеет обращать внимания на зайца. Глупого легаша обычно бьют, сильно бьют убитым зайцем для того, чтобы указать на все неприличие этой добычи; если так не сделать, собака приучается гонять, вспугивать всякую дичь, утрачивает стойку, гонит «в голос» летящую птицу, делает все это без толка, получается не то гончая, не то легавая, а в сущности ни то, ни другое, — нечто никуда не годное.

Дик, едва начавший охотиться, бросился было за лопоухим, неожиданно выскочившим перед ним на вырубке.

— Куда! — закричал я. — Назад, Дик, не смей! Назад, негодяй!

Он застыл на расставленных для прыжка лапах. Как же так? Ведь сильно пахнет дичью, а почему-то нельзя, не надо?

— Не смей! — сердито повторял я, указав туда, где заячьи лапы, удирая, поразбросали иглы и веточки хвои. — Не смей, не смей! Понял?

Да, он понял. Вполне, совершенно понял, больше не потребовалось никогда ни малейшего окрика. Но остаться равнодушным к запаху зайца, — нет, этого Дик не смог: зачуяв этот, очевидно соблазнительный, запах, он всегда совсем особенно ставил уши. Убедившись, что Дик в правилах легавой собаки стал непоколебимо тверд, я повалил крупного русака, выскочившего в болоте, где мы искали дупелей. Как изумился, как недоумевал Дик! Этакая непоследовательность: запретил искать зайца, а сам стреляет. Вот тут и пойми, как быть порядочной собаке!

Дик, впрочем, не затруднился нисколько. Он с тех пор зайца уже не пропускал. Он делал стойку над каждым пушистым плутом, притаившимся перед ним, но все, от кончика слегка помахивающего хвоста до ушей, поставленных торчком, все в Дике выражало явную насмешку: вот тут она, эта и дичь и не дичь, тут оно, странное существо, которое искать и запрещено, и заманчиво, и как будто должно.

Увидев, как Дик «раздeldывал» болото, а я, стоя на краю, только показывал пальцем, куда идти, один приезжий в восхищении предложил мне за Дика сто рублей. Для студента, не знавшего, на какие средства добираться до университета, это была огромная сумма.

— Дрянь у меня собака, — сказал я, злобно смотря на Дика, — тыфу, собака! Повешу я собаку, прогоню, продам собаку!

В ответ раздался протяжный вой.

— Да это что же такое? — в недоумении проговорил заезжий богач. — Он все понимает. Я вести за него дам. Идет?

— А если он с вас шляпу снимет, дадите триста?

— Пятьсот дам. Не может быть, не достанет.

— Эй, Дик!

И я сделал условный знак. Дик прыгнул и снял шляпу с очень высо-

кого «барина». Тот долго не хотел понять, как это нищий студент может не продать собаку за бешенные деньги.

А нам с Диком, что нам деньги? Мы лучше спляшем. Мало ли нас еще ждет таких каких-нибудь необыкновенных случаев в жизни!

К тому времени, как молодые утки начинали летать, мы переселялись из городишка в деревню, в крошечную избушку. У нас обоих постелями служили матрацы из одного и того же холста, набитые одной соломой. Лазая за утками, мы оба одинаково пачкались — до ушей. Когда мы приходили домой, я умывался, а Дик вылизывался, — тут замечалась некоторая разница. Затем мы ложились спать, и, едва потушив свечку, я чувствовал, как около меня, чуть шурша, осторожно становились лапы.

— Ты здесь зачем?

Свечка вспыхивает, но около меня никого нет, на маленьком же матрачике лежит очень умная собака и чуть-чуть похлопывает кончиком хвоста.

— Грязная псина, — говорю я, сдерживая смех, — не смей сюда лезть! Ведь у тебя такой же матрац.

Я тушу свечку, и в тот же миг около меня осторожное шуршанье — псина опять здесь. Я не могу рассердиться и приказать серьезно. Негодяй это чувствует. Сколько раз я ни зажигал бы свечку, дело кончается всегда одинаково: мне надоедает эта гоньба, я засыпаю, и негодяй всю ночь спит около меня. Утром он бел и чист без всякого умывания, но моя простыня вся в болотных узорах.

— Смотри, свинья, — говорю я с досадой, — видишь, что сделал? Право, свинья!

«Свинья» виновато болтает хвостом. Не драться же за такие проказы.

В городском доме Дику, по-видимому, в голову даже не приходило забраться на не принадлежащую ему постель.

Дик меня любил, когда был комнатной собачкой и балаганным псом. Но после того, как мы с ним прошли по озерам, лесам и болотам, детская любовь Дика перешла в ничем непоколебимое обожание. Спал ли я или только притворялся, что сплю, вход в мою комнату был воспрещен всем, кроме моей матери. Остальным показывались зубы, великолепные сверкающие зубы. Огромный пес лежал у порога смиренно, даже не рычал, он только показывал зубы — желание переступить порог пропало у всех.

Дик иногда как будто даже и не замечал, что чужой вошел в дом. Но когда этот пришелец желал выйти из дома и шел один, то при выходе его непременно встречал откуда-то взявшийся огромный пес и добродушно загоразивал дорогу. А стоило пса толкнуть, как он мгновенно превращался в зверя и, взяв за горло, опрокидывал дерзкого. Таких случаев повторялось несколько; все они, конечно, сопровождались криками, скандалами, неприятностями. Дик, видимо, не понимал, за что на него кричат, в чем упрекают. Ведь он отпустил чужого, едва при-

бежали свои, он не укусил, даже не сердился, за что же его бранить? Ко мне приходили охотники, которых Дик отлично знал. Все равно: при входе привет, радостное помахивание хвостом и ласковый взгляд, всё, как полагается доброму знакомому. При выходе без провожатого хвостом-то псина знакомому слегка помахивает, но смотрит хмуро и прохода не дает никому.

— Пусти, Дик! — кричал я, выглянув из окошка.

Он отходил в сторону, явно недовольный: ну что же, нарушайте правила, выпускайте так, зря, без присмотра.

Вся дичь везде, по убеждению Дика, принадлежала мне. Поэтому, с кем бы я ни охотился, Дик немедленно отнимал птицу, убитую из-под другой собаки, задавая ей еще иногда при этом трепку, и приносил дичь мне. Я пробовал отучить его от такого взгляда; он отказался повиноваться. В остальном моя воля была для него высшим законом. Не требовалось ни криков, ни угроз, ни пронзительных свистков. Он шалил, повесничал, в особенности когда мы только что выходили из дома. Когда мне надоедала эта беготня или на потеху зрителей, я срывал тоненький прутик и показывал его Дикю.

— Видишь? Вот я тебя, повеса, ты у меня пошляйся!

Он шел тогда, точно привязанный к моим сапогам, до тех пор, пока не падал прутик, прицепленный к моему поясу.

Ах, негодяй, ах, шут гороховый! Он в жизни своей не получил ни одного удара и с прутиком просто паясничал. Или тысячи лет побоев его предкам, бессознательной мукой отозвавшись в его памяти, сковывали его волю при виде руки, берущей орудие истязания?

Мучился он недолго: как только я ронял или бросал страшный прутик, Дик опять беззаботно бежал повесничать. Впрочем, воспоминания человека о том, что было тысячи лет назад, так же легки, мимолетны, почти неуловимы.

На охоте даже чужой крик меня раздражал; я всегда говорил тихо, иногда шептал, показывал пальцем, — Дик шел и исполнял приказание. Он покорно и неустрашимо обыскивал самые глухие, непролазные трущобы; он без колебания погружался в ледяную грязь. Я не сомневаюсь, что, если бы потребовалось, Дик по одному моему слову прыгнул бы в огненную бездну. За что такая любовь, такая преданность? Не за кусок же хлеба и не за то, что я его не бил, я стал солнцем его жизни. Ведь не мог же он знать, что я его ни за что не продам.

В Петербурге, где я проводил большую часть зимы, я Дика держал не мог никак и оставлял его в провинции у матери. За два — три дня до отъезда, при появлении первого чемодана Дик начинал ходить за мной неотступно, не спускал с меня глаз и вздыхал.

— На вас смотреть мука, — жаловалась мама, — взгляды, стоны. Уезжай скорей!

Он носил за мной мои вещи. Если я брал от него одну, он приносил другую, слюнявя их немилосердно; потом ему уже давали платок или полотенце, он так и ходил с тряпкой во рту весь день.

Тайну моего исчезновения он, конечно, понять не мог, несколько дней после моего отъезда вздыхал и пищал, затем вдруг чрезмерно успокаивался, чтобы не сказать — опускался. Все время моего отсутствия он скучал, все спал, мало ел, шутики показывал вяло и не все. Однажды мама пошутила, всунув ему в рот известное письмо ко мне. Он носил, носил его, видимо, сиюсь понять, что ему делать, и горестно заснул на своем матрасе с бумажкой во рту. Больше этой шутки не повторяли: так он был жалок.

Разлука была тяжела, но встречи наши восхитительны. При моем появлении весь дом наполнялся громовым радостным лаем. Меня Дик слюнявил с ног до головы; против этого напрасно было спорить, и я не без удовольствия покорялся.

— Ну, становись драться, собака, — говорил я, раздеваясь до рубашки, — иди, ешь своего хозяина, доказывай, что ты зверь!

Он кидался на меня с восторженным оглушительным лаем, зверски рычал, хватал меня за что попало сверкающими челюстями, не причиняя никакого признака боли. Я толкал его, колотил изо всей силы кулаками по спине и бокам, что, видимо, доставляло ему большое удовольствие. В самый разгар возни я кричал:

— Ложись зайцем!

Он мгновенно укладывался русачьей лежкой, то есть подогнув под себя лапы и держа высоко голову.

— Совсем ложись!

Он валился на бок.

— Совсем, совсем ложись. Телятиной валяйся!

Он раскидывал в стороны лапы, клал голову ухом на пол и, хлопая хвостом, весело посматривал на меня: больше он при всем желании никак не мог лечь.

— В цирк, в цирк обоих! — кричала мама, смеясь до слез. — Странствующие артисты какие-то, клоуны! Уходите! Сил больше нет!

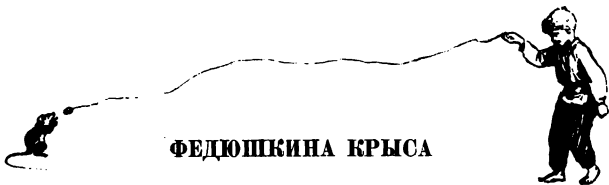
Я в изнеможении шел умываться, а Дик — на свой матрас, не очень довольный: он в эту игру мог играть сколько угодно и когда угодно.

Представлений мы давали много, но на охоте не шутили и плясали редко, лишь в чрезвычайных случаях. С возрастом Дик не утратил ни добродушия, ни веселости, только загривок у него стал, как у откормленного телянка. На десятом году жизни Дика я получил известие, что Дика укусила случайно забежавшая собачонка, и, ввиду несомненных признаков бешенства, Дика пришлось усыпить. Я не стыжусь признаться, что плакал над этим письмом.

Прощай, мой милый верный друг!

Твой облик безукоризненно чист в моей памяти, на нем нет ни малейшей черной точки неблагодарности, ни мимолетней тени подлости, предательства, обмана.

Прощай, Дик! Преданность и верность твои незабвенны. Они были бесконечны, беспредельны и несомненно собачьи: в этом их высшая похвала.



ФЕДЮШКИНА КРЫСА

— Смотри-ка, Федюшка, крыса! — прошептал Васька.

— У вас их много? — спросил Колька. — Большущая, рыжая. Я видел, как под плиту убегла.

Совсем маленькая Оля, готовясь заплакать, пробормотала:

— Я буюсь, буюсь.

— Вона, — спокойно отозвался шестилетний Федюшка, — важное дело. Это моя крыса. Я ее давно кормлю, она меня во как знает. Хотите, покажу? Идите все вон и смотрите потихоньку.

Ребята вышли из кухни и, не притворив плотно дверь, подглядывали в щелку.

Федюшка привязал на нитку кусочек хлеба величиною с мизинец и через всю кухню бросил хлеб к плите, к кипяточному крану, где в полу виднелась дырка. Как только хлеб упал, из дырки высунулась усатая мордочка, понюхала, оглянулась. Крупная рыже-серая крыса вылезла на пол и не торопясь направилась к хлебу. Но он прыгнул. Крыса побежала за ним, хлеб опять прыгнул. Прыгала и крыса — спокойно, не боясь; она привыкла играть в эту игру.

После нескольких скачков крыса схватила хлеб лапами и стала есть, поглядывая на Федюшку. Тот держал нитку с видом укротителя тигра. За дверью шептались, смеялись. Там собралась уже толпа.

— Я больше не буюсь, — твердила Оля, — клыса смешная, лызая.

— Ну, мастер! — важно заметил четырнадцатилетний сапожный подмастерье. — Ай да Федюшка, прямо хоть в цирке показывай!

Вдруг распахнулась дверь. Пришла мать Феи. Крыса юркнула в дырку под плиту. Но мать ее видела. И нитка с огрызком хлеба висела в руке Федюшки. Мать сердито поставила на стол тяжелую корзину.

— Ты что ж это, негодяй, этакую погань в кухню приучаешь? Давай-ка нитку, давай ухо. Я тебе такую крысу пропишу!

Федюшка плакал. Крыса не поганая. Она хорошая, умная, давно Федюшку знает. Вылезла вон оттуда и стала выглядывать, а он кинул крошку хлеба. Крыса понюхала, понюхала и утащила крошку. Бросил другую, она пришла и за той. Очень это было весело. Когда крыса осмелела, он стал привязывать корочку хлеба на нитку. И крыса прыгала. Кому крыса мешает? Она ходит одна, других не водит, ничего не ворует, приходит только с ним, с Федюшкой, поиграть.

Мамка за ухо потрепала чуть-чуть, даже вовсе простила. А дырку у плиты в тот же день заделали наглухо.

Федюшка, оставшись в кухне один, подходил к новой белой заплате на грязном полу и жалобно говорил:

— Крыска, милая, как мне тебя найти? Я бы тебе хлебца дал.

Иногда под полом слышалось царапанье. Там кто-то грыз и пищал. Потом стало ничего не слышать. Федюшка поплакал и забыл крысу.

Прошло с неделю.

Во время игры в рухи на дворе раздался крик:

— Крыса, крыса!

Через двор, вытянувшись и оскалив зубы, во весь мах неслась собака, а перед ней мелькало, прыгало что-то серое, рыжее.

— Стой! — закричал Федюшка на собаку. — Ах ты, псина! — И кинул в собаку палкой. Он не попал, но собака отскочила, крыса исчезла в углу двора среди крапивы и мусора. Собака пометалась, поискала, пофыркала и убежала. Игра в рухи продолжалась.

— Эй, Федюшка! — закричали мальчишки. — Крысий пастух, ведь это тебя крыса ждет!

Из-за обломков какого-то ящика действительно выглядывала уса-тая мордочка. Федюшка подбежал к ней. Крыса прыгнула несколько раз и, не убегая, посматривала на мальчика.

— Крыска, милая, — задыхаясь от жалости и любви, от воспоминаний о прежних играх, твердил Федюшка, — где ты теперь живешь? Подожди тут минутку. Я тебе сейчас чего-нибудь принесу.

Он опрометью бросился на кухню, схватил там почти обглоданную куриную ногу, во весь дух прибежал обратно, но крысы уже не было. И он горестно бросил принесенное угощение.



ШАЙКА

Тимка — коричневая собачонка без всякой породы. Фишка — лохматый, черный, как уголь, пес происхождения несомненно от таксы: он на коротких кривых лапах, сам длинный-длинный, да еще хвост длинный-длинный. Урод необыкновенный! Морда у него щучья. Бом — большой серый кот.

Однажды они украли у меня со стола тарелку жареной салаки, то есть тарелку оставили, а рыбу съели. Неприятно, но не удивительно.

Затем я свой завтрак поставил на комод. Опять осталась одна тарелка. Тогда баранью косточку я поместил на шкаф, а сам притворился спящим. В дверь просовывается хитрая рожа Фишки, за ним является Тимка. Вертятся, шныряют, ищут: ничего. Фишка поднимает нос и останавливается у шкафа: есть, тут! Топчутся, подсказывают — нет, несмотря на всю длину Фишки, становящегося на дыбы, ничего сделать нельзя. Исчезают.

Слышно, как в кухне они визжат и царапают дверь. Их ругают, — ведь только что, черти, со двора! — но они дружно визжат, как недорезанные; им необходимо выйти, их нельзя не выпустить. Через минуту являются все трое. Как рассказали они этому пушистому плуту о предприятии? Бом, мало того, что несомненно вызван со двора, он осведомлен вполне. Он, не тратя времени ни на какие розыски, уверенно прыгает на комод, оттуда на шкаф, баранья косточка шлепается на пол.

— Вы тут что, негодяи, делаете?!

Вся шайка кидается наутек. Замечательнее всего, что кот большею частью работает бескорыстно: добычу почти всегда едят собаки. Живут они дружно, спят вместе, причем кот помещается на животе собаки — по-видимому, все равно какой.

Иногда устраивается примерная травля. Собаки гоняют кота так, как будто цель их жизни его разорвать, а кот, делая вид, что ужасно боится, кидается куда попало и, сидя на шкафу, то есть, очевидно, в полной безопасности, рычит глухо, угрожающе. Случается, что во время самой бешеной скачки по коридору кот вдруг осаживает, разбежавшиеся собаки на него налетают и... и... не знают, что же с ним делать, а он лупит их мягкими лапами по мордам так, что те воют. Тут кот,гнув спину и подняв хвост, уходит, что ясно выражает: «Убирайтесь к черту, дураки. Надоели!»



НА ГОЛУБЯТНЕ

Васька Шумов высунулся из бокового оконца голубятни, махнул рукой и тихонько крикнул:

— Тсс!.. Тсс!.. Эй, мальчик, лезь сюда скорей!

Куда? На голубятню?!

Слишком большое счастье, не мог я ему поверить.

Призыв относился, конечно, ко мне. Васька Шумов — помощник Паньки по голубиным делам, другого мальчика тут нет, это все так.

Но не очень давно Панька Ройский, длинный тощий парень, взяв меня за ухо, вывел из голубятни на низкую перед ней крышу и страшным голосом спросил:

— Тебя сюда звали? А? Звали?

Не получив ответа, он дал мне так называемого киселя и прибавил:

— Вот! Нечего здесь болтаться. Пошел вон!

Помня такую обиду, я затем лишь издали посматривал и слушал, как прилетали, улетали голуби и как они глухо ворковали где-то там, под длинной узкой крышей.

Сизые, белые, бурые птицы, как-то радостно, свежо трепеща крыльями, часто слетали к конюшне, где стояли извозчичы лошади.

Оттуда Панька не мог никого прогнать. Голуби клевали там просыпанный овес, и я тут рассматривал их с утра до вечера: они занимали меня больше всего на свете.

У некоторых воротники из перьев: это плюмажные голуби. У других хохлы на головах, у иных около глаз не то бородавки, не то висюльки какие-то, точно у индюков.

А что голуби делают, когда воркуют там, под крышей? Какие там будочки, домики, сетки, сколько непонятных вещей! Голубка в гнезде сидит. Интересно бы туда еще забраться. А вдруг опять за ухо?

Я колебался; между тем Васька, показавшись у дверей, сердито полуромко прошептал:

— Полезай же, тебе говорят!

Тогда я живо взобрался по приставной лесенке на ту плоскую крышу, где недавно получил пинка, и с нее через две — три ступеньки вошел на чердак, заселенный голубями.

Полутемный узкий проход между корзинами, клетками, ящиками; перекладины, насести, какие-то не то кувшины, не то плошки с водой; странный острый запах, особенная теплота от множества птиц, и в тишине как будто таинственные, глухо воркующие голоса.

Вот белоснежный голубь, крутась по полу, раскланивается перед лубочным домиком, из которого виден клюв.

— Ты слушай, — точно испуганный, торопливо зашептал Васька, — нечего тарашиться, потом все увидишь. Ты слушай. Беги сейчас во весь дух в гимназию, вызови Паньку. Скажи, гимназиста пятого класса Павла Ройского чтобы позвали. Соври... Впрочем, пусть он сам врёт, что хочет. Ты ему скажи, что у Щелоковых сейчас выпускать будут. Я видел, вчерашнюю партию готовят. Чтобы скорей бежал. Понял? Беги, пятачок получишь!

Что мне деньги? Вот на голубятню пускали бы.

Пока мы бежали из гимназии, я успел высказать свое заветное желание Павлу Ройскому.

— Ну ладно, — сказал тот, подбегая к лесенке, — влезай! Сиди вот тут в углу и молчи. Если только пикнешь, ухо оторву и выгоню навсегда!

Голубиное сражение началось.

— Сколько у них? — отрывисто, сурово, шепотом спрашивал главнокомандующий. — Васька, ты видел?

— Обе корзины вчерашние открывали, — докладывал Васька, — штук шестнадцать, пожалуй.

— Ну да, как же. Жирно будет с шестнадцати начинать. У летка сколько? Сосчитать не мог? Тетеря! Дай бинокль! Семь пускают. Вася, выдвигай ушастых, кидай всю, всю восьмерку. Так, так! Фью-ю-ю!

Точно десятка два людей в ладоши бьют, — так плещут голубиные крылья. Стайка голубей улетает.

Гимназист пятого класса Павел Ройский кричит непонятные слова, свистит, размахивает кульком на палке. Глаза Паньки восторженно устремлены куда-то вверх. Васька высунулся в оконце под летком так, что в голубятне видны лишь его ноги. Ни тот, ни другой ни на что, кроме летающих голубей, не смотрят. Я из угла ползу к боковому «глазку», выглядывая из него.

Чудесный вид! Стайка белоснежных птиц вереницей кружится в лазурном небе и, сверкая крыльями, поднимается выше и выше.

— Васька, подсыпь! — слышится встревоженный голос Павла. — Выхирей сыпь, пару, скорей!

Он чем-то недоволен, Панька; он ругается. Мне, кроме сверкающей стаи, не видно ничего. Оглянувшись, я замечаю, что Васьки у среднего оконца нет, и, осмелев, занимаю его место, подтащив под оконце корзину.

Красное с вытаращенными глазами лицо Паньки страшно близко в летке. Он как будто смотрит иногда прямо на оконце, но меня не видит: иначе, конечно, прогнал бы. Около него, также красный, суется Васька и также видит только голубей. А из окна теперь видно всё, всё.

Над щелочковским садом кружится другая стая голубей, и сверкающие их крылья так же дрожат и мелькают в прозрачной вышине. Это первая стая поднялась над второй или вторая снизилась?

Между ними что-то есть, какая-то связь чувствуется в стремительном полете голубиных стай, и сердце замирает в смутной тревоге.

Панька кричит, свистит, размахивает помелом, стучит его рукояткой. Он смеется радостно.

— Сюда, сюда, эй, сюда пошла! — покрикивает он. — Все сюда! Гули, гули, гулиньки! Фью-ю-ю! Сюда, на пшеничку!

Вдруг смех исчезает с его лица; он опять встревожен.

— Курицу! — орет он. — Васька, Курицу подавай! Они синих бросили. Живей, Васька! Ломай замок.

Оба возятся над корзинкой, и что-то бурое, крупное, резко хлопая крыльями, взвивается над летком и стремительно летит в вышину, где две голубиные стаи почти соединились.

Васька пронзительно свистит.

— Ну, ну, Курочка, миленький! — вопит он жалобным голосом. — Ну, подтяни, поддержи, голубчик!

Курица — это любимый голубь Васьки Шумова, единственная его собственность, предмет особых забот и нежнейших попечений. Курицей он назван за исключительно крупный рост, почти желтые перья и добрый нрав: никогда не дерется. Васька уверяет, что Курица — лучший в свете летун, башка, каких больше нет, и первейший мастер загонять чужие стаи.

Что он там делает в вышине, этот Васькин любимец, как, чем ведет за собой три десятка птиц, собравшихся там в сверкающую вереницу? Бормочет он им что-нибудь на голубином языке или, пробиваясь сквозь воздушные волны, увлекает за собой силой полета, могучим трепетом крыльев? Он ясно виден впереди всех.

Васька хохочет и бьет в ладоши. Стая низит; Курица ведет ее к своей голубятне.

Но у Щелоковых тоже не зевают. Там свистят, кричат, размахивают, оттуда голубей выкидывают пяток за пятком, — богачи, эти Щелоковы!

И точно невидимые нити тянутся от летка к станице голубей, кружащейся в вышине: как только подлетит новая стайка, весь табун, сделав с ней вместе два — три круга, склоняется в сторону ее голубятни.

Голуби так высоко ушли в лазурь, что кажутся роем не то снежных хлопьев, не то каких-то белых мух. Они не могут слышать того, что им кричат и свистят, но охотники продолжают бесноваться у летков голубятен.

Лицо Павла Ройского вдруг искажается ужасом.

— Подлецы! — шипит он злобно. — Васька, смотри, карнауховские вылетели. А?

Васька сам уже увидел новую стайку, стремительными кругами идущую в вышину, и, бросив помело, машет кулаками.

— Это что ж! — кричит он. — Так всякий сумеет уманить. Под самый слет выпускают. Безобразие! Жулье!

Павел мрачен. Также оставив помело, он берет бинокль, оглядывает безграничное синее море воздушного состязания, и, как полководец, решающий участь сражения, кидает в бой последний отряд, он отдает приказ:

— Василий, Полузобого!

Васька сломя голову бежит куда-то в отдаленный конец голубятни. Я в своем оконце замираю от жуткого чувства: я десятки раз слышал, что если уж Полузобый не поможет, то не поможет ничто, тогда провал, крышка.

О, это знаменитый турман, Полузобый! Он не велик, черен как уголь, без единой отметины. Он вырывается из летка с треском, несется пулей ввысь и вдруг кувыркается через голову — раз, два, три, — как будто падает. Нет, он резким броском поднимается, летит, вновь кувыркается и исчезает из глаз.

Он выучен так кувыркаться или чрезмерный избыток сил переворачивает его стремительный полет в критическую минуту состязания? Имеет это какое-то таинственное, быть может, угрожающее значение?

Он как-то действует там, неразличимый в воздушной синеве; он знает свое дело, прославленный Полубобый.

Табун голубей, бурно свистя крыльями, низит, огромным кругом проносится над голубятней. Леток ее открыт, у летка никого нет, полók — три широких, новых, чистых доски, сбитых вместе, — выдвинут перед летком и усыпан пшеницей. Панька и Васька хищно притаились под выступом крыши у летка; в руках у них веревки. Голубятня безжизненна.

А на шелокской из себя выходят двое: кричат, машут, чуть не вываливаясь из голубятни. Напрасно! Они уже не могут поднять решительно снизившийся табун.

Плеск множества крыльев, особенное отрывистое воркованье, похожее на куриное кудахтанье, толкотня, давка, клевки — то голубиная туча спустилась, осела на полók. Голуби жадно клюют пшеницу. Васька тянет веревку, полók со всеми крылатыми едоками наклоняется внутрь голубятни, и свои голуби бегут по знакомой дорожке домой, большинство чужих следует за ними, семена малиновыми лапками. Наиболее чуткие из чужих взлетают, но поздно: леток закрыт сеткой, упавшей от руки Паньки.

— Го-го! Все тут! — гордо орет Ройский Павел. — Шамбарый тут! Карнауховский Пятихвост тут! О-го! Васька, считай, сажай рядовых! Ха-ха! Забирай! Ай да Полубоб!

Владелец Курицы, едва не попавшей в плен, чуть не пляшет, угощая своего любимца, но помалкивает: его герой чуть-чуть не сплеховал.

Тут уже и я осмеливаюсь высунуться из оконца под летком и, размахивая картузом, крикнуть изо всех сил:

— Наша взяла! Ура! Полубобый, ура!

— Верно, — снисходительно посмеивается польщенный главнокомандующий, — против нашего Полубобиньки никто не может. Только ты, братец, не егози чересчур, а то того. Смотри!

Вечером в последних отблесках зари Ройский Павел важно разгуливает у ворот. К нему подходят толстые, бородатые, в ушастых картузах, о чем-то просят, кланяются, называя его, Паньку-то, Павлом Геннадиевичем, а он важничает, задирает нос кверху.

— Насчет голубков? — небрежно, как бы удивляется Панька. — Можно, можно, сейчас сосчитаемся. Эй, мальчик, сбегай к Васе, скажи, чтобы пришел.

Я турманом лечу, чуть ли не кувыркаясь, на голубятню, куда вход я заслужил, и сообщаю там, что пришли выкупать голубей. Они давно сосчитаны, сидят по корзинам, и Вася к воротам приглашается для торжества победителей, для издевательства над побежденными.

— Ну как, Вася, разобрал ты их всех? Сегодня что-то много к нам залетело. Сколько шелокских, сколько карнауховских, а? Шамбарый тут: трешницу за него. А за Пятихвоста меньше синенькой, сами понимаете, взять нельзя: редкий турман, не всякий такого загонит.

— Уступите, Павел Геннадиевич, дороговато назначаете; раз на раз не приходится. И с вами такое может быть.

— Ну, тогда с нас возьмете. А уж теперь нечего делать. Так, так, верно. Вася, выдай!

Толстые бородатые картузники, заплатив выкуп, уходят с корзинами повесив носы и мрачно ворчат:

— Постой, дай срок, попадешься и ты нам, обдирало. Не денег жаль — обидно. Молокосос! Погоди, и тебя пымаем!

А победитель, важный, гордый, счастливый, шелестит бумажками, позвякивает мелочью в кармане. Он направляется к голубятне и вдруг замечает у приставной лестницы человечка.

— Мальчишка, ты все тут? Ну-ка, получай на пряники за беготню. Лазить сюда ты можешь, но ежели перед голубкой в гнезде маячить будешь, так я тебя опять выгоню. Ты это помни!

Голубятня ни звука, она погружена в темноту, в сон.

А я... помню, сорок лет помню, все помню.



ХРОМОЙ СКВОРЕЦ

Несчастье и плен

Мне было десять лет, когда ко мне в руки попал скворец.

В том краю, где я тогда жил, много вишневых садов. Мелкие птицы там под осень носятся большими стаями.

Однажды я ловил рыбу у широкой песчаной отмели. Вдруг слышу: бух, бух! Это охотник в кустах выстрелил по пролетавшей над отмелью стае скворцов. Черные птички градом посыпались на песок. Стрелок подобрал свою добычу и ушел.

Я побежал к кустам за хворостом для костра. Вдруг из-под ног у меня выскочил скворец и, взлетывая, подпрыгивая, пустился удирать бегом между листьями лопухов. Я бросился за ним и скоро догнал его. Он перекувыркнулся на спину, пищал, клевался и царапался. Я посадил его в шапку и принес домой.

Там сразу стало видно, что лапа у скворца в крови, крылья целы: он распускал их и складывал свободно. Других повреждений нет. А в лапе, повыше пальцев, застряла дробина, только не очень глубоко. Тогда я подержал скворца так, чтобы он не брыкался, а сестра шипчиками вытащила из лапы дробину. Лапу обмыли, завязали марлей и пустили скворца в клетку. Он забился в угол и затих.

Клетку окутали газетой и поставили на террасу. Случилось все это под вечер. Что делал скворец ночью, неизвестно. Утром я проснулся рано и слышу: свистит. Я скорей на террасу. Смотрю: банка опрокинута, вода разбрызгана, нос у скворца мокрый, на перьях капли. Значит, он пил, а может быть, и купался. Сидит на полу клетки и смотрит весело. Должно быть, будет здоров. А чем его кормить?

Я насыпал на пол клетки крошек от сухаря. Скворец прижался в угол, даже не смотрит на крошки. Подсыпал я конопляного семени. Боится скворец, бьется, трепыхается, когда сквозь прутья клетки сыплются зерна.

Я отошел. Смотрю и думаю, как же мне с ним быть? Вдруг на крошки села муха. Скворец ее хват! И съел. Вот так ловко. Теперь знаю, что ему нужно. Наловил штук пять мух и бросил в клетку. Не ест их скворец, даже не трогает.

— Ты чудак, — сказал мне старший брат, — не станет скворец мертвую муху есть. Очень нужно ему собирать мушиную пададь!

— Сам ты чудак. Как же дать живую муху скворцу? Руки он пугается, а выпустишь муху, так она улетит.

— А ты крыло у нее оторви или придави ее немножко, да и пусти в клетку.

Попробовали. Не ловит скворец искалеченных мух.

— Червяков принеси, — решил брат, — гусениц каких-нибудь достань или хоть земляных червей накопай.

Ну, этого добра сколько угодно. На капусте я в несколько минут набрал пригоршню мягких зеленоватых гусениц. Скворец в одну минуту расправился с ними начисто: проглотил всех без остатка. Ах, обжориска! Вот тебе десяток дождевых червей. Скворец подобрал их живо. Наелся и закричал, очень смешно, как-то тихонько хрипел или сопел. Крыльями хлопает и на одной ноге припрыгивает. Я положил в угол клетки клочок пакли, завесил клетку газетой. Слышно, возится скворец и все крикает. Я испугался: объелся, думаю. Что делать? Смолкло все в клетке. Я заглянул в щелочку: спит мой скворушка на мягкой постельке. Ну, значит, все хорошо.

Однако четверти часа не прошло, как скворец опять свистнул и расплескал всю баночку. Я принес ему из сада двух больших мохнатых гусениц. Он их растрепал в клочья, выклевал из них всю начинку, но косматой их кожи есть не стал.

Вечером скворец попытался вспрыгнуть на жердочку, свалился и ушел спать в угол на паклю. Но следующую ночь он провел уже сидя на перекладинке и подвернув голову под крыло, спал так крепко, что не слышал, как я за ним подсматривал, хотя газета шуршала. Днем скворец стал часто вскакивать на жердочку. Это не всегда ему удавалось. Вскокить-то вскочит, да не удержится и — кувырк. Ничего, не ушибался.

Перевязку с лапы у него сняли. Он кричал и дрался, но не так сильно, как в тот раз, когда впервые попался в руки.

На месте ранки черная кожа сморщилась; там долго виднелась глубокая красная царапина. Потом она заросла какой-то беловатой пленкой, покрепче, чем остальная кожа. Должно быть, этот иарост не давал лапе сгибаться как следует. Скворушка зажил здоровым и веселым, прыгал хорошо, но, когда шагал по полу, всегда прихрамывал.

Воспитание и образование

Скворец сидит на жердочке плотно. Он шипит и свистит.

— Не время ему петь, — говорит мама, — теперь за море скворцы от нас летят. Подожди весны, тогда он споет по-настоящему. Помнишь, как они у скворечника заливаются?

— Куда у него столько лезет? — с притворной досадой ворчу я. — Три десятка крупных червяков съел, и все ему мало. Опять просит.

Скворец трясет головой и раскрывает клюв.

— Ты на свою мерку его не примеривай, — заметил брат, — он не так переваривает пищу, как ты. Тебе, по птичьему расчету, например, обыкновенной колбасы потребовалось бы в сутки аршин шестьдесят. Хороший червяк пудов в семь весом.

— Ты, Федька, все врешь.

— Ничего не вру. Это давно вычислено и в ученых книгах напечатано. Возьми орнитологию...

— Ну ладно! Ты лучше скажи, — чем зимой скворца кормить? Гусениц уже нет, червей втроем не успеваем накопать, тоже пропадают.

— Ничего, с голодухи твой скворец не так разборчив станет, крошек поклует. Да я потом научу, как приготовить мясной корм.

По совету того же знатока птиц, в кухне поставили ящик с отрубями: завод мучных червей. Их скворушка клевал жадно.

Скворец вылинял. Коричневые пятна на его черных перьях виднелись ярко. Глаза стали блестящие, всегда веселые. Весь он как будто вырос. Купался он постоянно. Как только наполнится его банка свежей водой, он сейчас же в нее засунет нос и — фырк! Только брызги летят.

Мясо и мучные черви поспели вовремя: ударил мороз. Нет больше дождевых червей. Но двух больших и толстых достали при пересадке комнатных цветов. Я принес этих червяков, открыл дверцу клетки, просунул туда руку. На моей ладони шевелились червяки — любимое лакомство. Скворец подскочил, схватил червяка, утащил в угол, съел и вернулся за вторым.

Так скворец в первый раз взял еду из рук. Тогда я принялся учить его говорить.

Уже давно стало заметно, что скворец знает свою кличку. Много предлагали для него имен. Сестренка почему-то прозвала его Кутькой. Так оно и осталось.

Я при входе в комнату, где стояла клетка, всегда говорил:

— Здравствуй, Кутя!

Чистил ли я ему клетку, менял воду, сыпал корм, я спрашивал:

— Как поживаешь, Кутя? Хорошо ли спал, не хочешь ли чего покушать, Кутя?

Скворец, конечно, молчал, но что-то вдолбилось в его носатую головенку. Скоро стало так, что я даже ничего не приносил ему, а все-таки, едва я говорил «Кутя», он вертел головой и вздрагивал крыльями.

— Ну что ты к нему пристал! — с досадой жаловалась мама. — Даже мне надоело. Все Кутя да Кутя. Ведь это не попугай. Оставь его в покое. Видишь, он не желает тебе отвечать.

Но он ответил. Как-то нечаянно я заболтался у клетки, а Кутька видел, что у меня в руке мучные черви. Он перебирал лапами, вертел головой, трепетал крыльями, свистел. Я все не даю. Он принялся долбить носом в дверцу. Она отворилась. Скворец вылетел и закричал что-то вроде:

— Чирр... Фр... Кр... Шка-шка!

Это был почти полный успех. Я, кроме «Кути», часто твердил: «Скворушка! Скворушка!»

Кутька взлетел на шкаф, оттуда шмыг ко мне на руку. А я червячков зажал в кулаке.

Он долбит по пальцам и не то свистит, не то ворчит:

— Фр!.. Шка-шка!

Ну что ж тут делать? Получай свое лакомство, раз научился хоть кое-как полслова выговаривать.

После того ни одной подачки я не приносил без требования разговора. Кутька вполне привык вылетать из клетки — ее больше уже не запирали — и охотно высвистывал все, что мог. Однако, как мы ни бились, дальнейшие успехи в речи шли туго.

При виде лакомой закуски скворец стал бормотать скоро-скоро какое-то шипенье:

— Ссс... фр... Шка-шка!

Это слегка похоже было на «скворушка, скворушка», произнесенное быстрым шепотом. Больше ничего по части разговора достигнуть Кутька не смог.

Но он скоро отличился по-своему. В столовой у нас дверь поскрипывала тонко и трескуче. Мама, сидя у стола за шитьем, услышала знакомый скрип и спросила:

— Кто там?

Никто не ответил, а звук повторился. Мама оглянулась. Дверь закрыта, никого нет. А опять скрипит. Оказалось, что это Кутька развлекается от нечего делать: научился «скрипеть дверью». Ему этот скрип, видимо, понравился, и он очень скоро показал мне свое искусство, скрипел часто без всякого на то приглашения.

Когда небо засинело ясно и населились окрестные скворечники, Кутька громко спел песню весны. Он заливисто свистел, шипел, чмокал, щелкал и так задорно фыркал, как будто нос всунул в воду и пузыри пускает. А нос-то поднят в воздух, раскрыт вовсю и дует песню так, что горлышко дрожит.

По зарям пел Кутька — утром дольше, вечером меньше. Попел дня три и вдруг исчез.

— Сам же ты не запираешь клетку, — смущенно говорила мама, — сам вынес его на террасу. А потом ушел в гимназию. Недосмотрели, вылетел как-то. У нас другие дела есть, не только скворцов караулить. Сам ты виноват, зачем учил его носом отворять дверцу.

Я горестно вышел в сад. В то время я уже изучал разные премудрости, вроде латинского языка, считал себя почти взрослым, но, признаюсь, при воспоминании о скворце мне очень хотелось плакать.

Легко говорить: «поймаешь другого». Где я такого возьму? Почти говорить умел. Как меня знал, как головенкой тряс!

— Кутя! Кутенька! — повторял я, бродя по безлистным аллеям. — Скворушка, милый, где ты?

Вдруг что-то встрепенулось в вершине дерева, и оттуда мне на голову слетела птица. Кто же это, кроме скворушки, мог быть! Я в восторге пришел домой со скворцом на голове.

По комнате зимой я часто так ходил. Кое к кому из тех, кто приносил ему поесть, Кутька изредка садился на плечи. Но все-таки такое возвращение с воли меня поразило. Ай да Кутька! Нет, он привык тут жить, не улетит. Нечего его и запирать в клетку. Пусть живет как хочет.

Случалось, что скворец даже не ночевал дома. Меня это не беспокоило. Куда, зачем он летал, я, конечно, не знал, но на заре я выходил в сад и, посвистывая, звал:

— Кутя, Кутя, скорей сюда! Фью!

С ближайшей яблони летел скворец и прямо к моим рукам. Подавай червячков!

Настали теплые ночи. Полетели, гудя, жуки, запорхали бабочки. К плодам и ягодам поползли гусеницы. Везде для скворца богатая добыча. А у нас по утрам все тот же разговор:

— Кутя, на червячка! Хочешь?

В ответ трепет быстрых крыльев, и маленькое пернатое существо на плече не то бормочет, не то шепчет:

— С... с... с... чш... шка-шка!

В одно несчастное утро никто не отозвался на мой призыв. Напрасно я свистел, кричал на все лады, обегал все аллеи и гряды. Нет Кутьки. Весь день нет, всю ночь. Съела его кошка? Погиб как-нибудь иначе? Не может быть, чтобы улетел. Вот тоска!

Великолепно в саду сияло утро. Роса сверкала на цветах. Точно вымытые, блестящие листья. Мне все казалось мрачным: нет милого скворушки, нет, нет!

«Должно быть, и не будет, — решил я на пятое утро его отсутствия, — пропал Кутька».

В полдень шли мы, мама и я, по городскому бульвару, обсаженному липами. На базар шли покупать мне птицу. Вдруг послышался скрип нашей столовой двери.

— Стой, мама! — закричал я, схватив ее за руку. — Кутька здесь! Фью!

— Еще что? Откуда он тут возьмется? Пусты руку, не свисти! Стыдно! Ты уже большой мальчик, иди прилично!

— Да ты слышишь, дверь скрипит? Кутя, Кутя, червяков, Кутя! Фью-ю, сюда скорей, фью! Эй, Кутька!

Из темной листвы вылетела черная птица и уселась мне на плечо.

Ах, бродяга Кутька! Где ты шатался четверо суток, от кого научился так скверно стрекотать и каркать? Около сорок, что ли, летал, ворон слушал? Негодяй!

Ну да ладно. Пойдем домой, любимая моя птичка!

Угостить скворца тут было нечем, но он цепко сидел на моем плече всю дорогу без всякого вознаграждения.

Долгая жизнь

Годы шли, несли большие перемены.

Я вырос в длинного верзилу. Гимназия давила меня своей ученостью. Как страшные призраки, мелькнули спряжения греческих глаголов, ненавистные логарифмы. От них я бегал на охоту, лазил по болотам за утками, преследовал на отменях куликов, отыскивал в лесных вырубках тетеревей. Приносил домой связки пернатых с широкими лапами, с длинными носами, с косицами на хвостах. Но мне никогда в голову не приходило выстрелить по скворцам, носившимся тучами над вишневыми садами. Плавают, бегают, летает добыча охотника. Греми, моя двустволка! Дичь идет на кухню. Это совсем другое дело.

В клетке же у нас живет особенное существо, пернатый наш дружок, член семьи. Кутька сидит у себя на жердочке и чистит перья. Мы завтракаем, едим кашу. Это скворцу нисколько не интересно. Он как будто не обращает внимания.

— Катя, — распоряжается мама, — принеси творог!

При этом слове скворец вылетает из клетки, опускается на стол и, прихрамывая, разгуливает между стаканами.

— Ты что ж, Кутька, — говорю я, — пятый год у нас живешь, ни одному слову не выучился. Скажи: скворушка.

Черный блестящий глаз птицы смотрит на меня. Скворец отчетливо понимает, что я обращаюсь к нему, и стоит у моей тарелки.

— Скажи: скворушка, — настаиваю я, — не то не дам творогу.

И я закрываю рукой любимое лакомство скворца.

Кутька нетерпеливо топчется, крылья его вздрагивают, перья топорщатся, и он шипит:

— С... с-с... кр... кр... шка-шка!

— Молодец! Получай творог!

Я отнимаю руку, и Кутька запускает нос в тарелку.

Это повторяется так часто, что присутствующие больше не смеются.

— Как не жалко так мучить птицу? — иногда упрекает мама. — Смотри, все перья у Кутьки взъерошены.

— От чрезмерной любви к творогу, а не от мученья. Будет с тебя, Кутька, пошел домой!

Перья опускаются. Скворец, видя, что больше ничего не дают, летит в клетку, садится на перекладинку, чистит нос и сонно крикает. Значит, сыт.

Пока едят суп или пьют чай, это скворца не касается. Но едва подадут на стол мясо, Кутька уже летит и выпрашивает кусочек. Ватрушку от пирога отличает плут. К пирогу он равнодушен, а к ватрушке — из клетки шмыг! Ватрушка с творогом: тут можно вкусно клюнуть. Впрочем, мелкие сухие крошки он со временем стал чуть-чуть поклевывать, по-видимому, просто так, от нечего делать, среди чрезмерного разнообразия корма.

С возрастом перья у Кутьки приняли глинистый оттенок; на них ярко выступили белые крапинки. Весь он как-то вырос, покрупнел.

Иногда новые гости спрашивали:

— Что это у вас за птица? Неужели скворец? Какой большущий!

Один гость как-то стал рассказывать около клетки, что вот в Москве пришлось быть у зубного врача. Так там скворец замечательный, говорит: «Здравствуй, скворушка».

Вдруг из клетки послышалось:

— С... с... с... кр... кр... шка-шка!

Ай да Кутя, молодчина! Поддержал. Догадался ли он, о чем речь идет, или только поймал знакомое словечко, да и брякнул свое в ответ, но стилистическим знаменитостям нос утер. Спасибо!

Птицы сменялись у нас часто. Очень недолговечен этот певчий народишко. Кутька перенимал их песни все, иные сразу, иные с большой задержкой. В погожее морозное утро, когда ярким светом блестел в окна свежий снег, вдруг рассыпалась такая звонкая трель, что мама с изумлением подняла голову.

Разве опять канареек завели?

Нет, это наш скворушка почему-то вспомнил желтую птичку, исчезнувшую с год назад, да и грянул ее трескучую песню.

Одну зиму у нас прожил воробей. Клетки у него не было, он спал в складке оконной занавески. Прозвали его Чик-Чик. Прыгал воробей весело, но почти молчал. Так при виде его Кутька всегда чирикал по-воробьиному.

Синицы у нас никогда не держали, но Кутька откуда-то знал ее тонко звенящую песенку и отчетливо изобразил:

— Цы-пинь-пень-тарарах!

Иногда он путал их всех в кучу: привычных знакомцев — чижей, снегирей, щеголей, чужую птицу Канарских островов и курицу, сзывающую цыплят.

Свои шумные представления Кутька устраивал только в одиночестве, когда около него никого не было. Конечно, он не подозревал, что за ним

подсматривают и подслушивают в щелку. Выглядывал огненный край солнца. Алые тени ползли по белым стволам берез. Вся комната наполнялась розовым светом. Скворец, распушив перья, топтался на жердочке, бил крыльями, надувал горло и кричал всякими, даже непонятными голосами.

Мама, ложившаяся позже всех в доме, выбегала из спальни, кидала на клетку какую-нибудь покрывку и уходила ворча:

— Вот покоя нет. Скандалист! Безобразник, молчи!

В клетке слышится как будто обиженное крикание, потом молчание — возня встраиваемых перьев.

Если мама ловила меня в моей засаде, то упрекала:

— Бесстыдник, тебя женить пора, а ты ни свет ни заря скворцу концерты заказываешь. Спать не даешь!

Бедняжка с досады, впросонках, явно преувеличивала. Мне шел только шестнадцатый год, и, к сожалению, ничего заказать скворцу я не мог. Забавной пискотней из чужих криков Кутька оглушал часто, но собрал ее сам.

Не сговариваясь ни с кем, Кутька раз в год пел и собственное сочинение — песню скворца весной.

Он пел ее одинаково у себя в клетке на жердочке и в безлистных ветвях березы, когда ручьи бежали из-под снега. Пузырилась, брызгала, свистела бесхитростная песенка перед птичьими домиками на деревьях.

Кутька лазил после пения в скворечники. Зачем? Что он там делал, что видел? Почему не остался там жить у вольных скворцов?

Нет, что-то тянуло его вернуться в клетку.

Творог? Может быть.

Иногда Кутька ночевал на дереве, все утро домой не показывался. Но около полдня являлся и, если находил террасу запертой, то стучал клювом в окно столовой. Влетает в форточку и — шмыг на стол! Что подадут к завтраку? Кашу? Шмыг в клетку. Баранину? Это другое дело. Не дадут ли кусочек? И пляшет и головенкой трясет попрошайка.

Когда начинали блекнуть травы, а листья на липах золотились, стаи скворцов неслись над садом шумно, со свистом, со стрекочущим криком. Куда летят? За какие моря? Кто погибнет, кто вернется к родным скворечникам?

Кутька при полете скворцов никакого волнения не проявлял, ни разу не сделал попытки взлететь к стае, даже никогда ей не крикнул. Боялся лететь? Конечно, нет. Не мог домашний скворец ничего знать об опасностях дальних полетов.

А не привязался ли он всеми своими птичьими силенками к странному, чуждому, огромному для него существованию, полюбившим его, малую пташку?

Как бы там ни было, творог или любовь, но что-то прочно прикрепило скворца к его всегда открытой тюрьме. Настежь клетка. Лети куда хочешь. А он остался в неволе до конца своей долгой жизни.

— Околеет скоро твой скворец, — сказал брат, недавно окончивший академию, — он весь поседел.

— Ты все врешь, Федька, — повторял я по старой памяти, — хоть ты и доктор, а врешь.

— Смотри, концы перьев у него стали белыми. Старческое исчезновение пигмента.

— Ну, пошел плести. Пигмент! Просто врешь.

Но он был прав. Кутька заметно побелел.

— У него лысина начинается, — неумолимо твердил чересчур внимательный доктор, — на человеческую мерку он прожил лет девяносто. Довольно.

Тоже напрасно возражать. Мелкие перышки на голове у Кутьки выпали, голый череп высунулся остро и жалко.

Я приносил Кутьке творог ежедневно. Скворец клевал его жадно, однако продолжал худеть и терять перья с шеи.

Скворцу шел восьмой год, а мне восемнадцатый.

Я все еще задыхался в гимназии.

— Потрудитесь придавать вашему лицу благочестивое выражение, когда отвечаете урок закона божьего, — сказал мне поп.

— Черт бы вас взял с вашим законом! — выпалил я и убежал.

За мной посол: пожалуйста в карцер.

А, так! На трое суток с гончими закатился я в отдаленные леса. Го, го, собачки! Ату ее! Вертись, рыжий хвост! Ба, бах! Кувыркнулась лисица. Труби победу, медный рог! Когда вернулся, говорят: выгнали из гимназии. Беда! Дома житья не стало.

— Анархист! Негодяй! Лодырь! Ему в университете пора быть, а он со скворцом сидит. Находка тоже: чучело облезлое.

Все правда. Преступник я: батюшку к черту послал. Ужас!

Плохой вид у скворца. Шея стала голой, весь осунулся. А бодро прыгает, смотрит весело.

— Вот творожку Куте принесли. Только скажи, кто ты такой, скворушка?

Черный глаз задорно выглядывает из лысого черепа.

Клюв раскрывается.

— Не дам. Сначала скажи.

— С... с... кр... шка-шка.

— Ну, кушай! Ничего, милый мой, мы еще поговорим.

В девятый раз свою песню весны скворец брызнул великолепно. Булькал, свистел, заливался, фыркал — все как следует быть, что выходило очень жалко при странной его наружности.

И вновь пришла весна. Скворец запел, но вместо свиста у него вырвался какой-то хрип. Бедный старик Кутька свалился с жердочки, попытался встать, всплеснул крыльями, перекувыркнулся на спину. Черные лапы его медленно двигались. На одной все еще виднелся толстый белый рубец от дробины, так удивительно изменившей Кутькину жизнь. Теперь настала смерть.

С тех пор прошло много лет. Давно пора забыть это птичье происшествие, но невозможно. Оно по-прежнему чудно волнует мне сердце.

Я старик. Но когда брызжет весенняя песня скворца, я снова мальчик. Вот широкая отмель реки. Ярко горит над ней красный свет солнца. Бухают выстрелы, эхо ворчит в лесу на другом берегу. На песок валяются черные птички. Я бегу, хватаю маленькое пернатое существо... Это — Кутька.

Он связан со мною неразрывно, надолго, навсегда. О, детство, молодость, лучшая пора жизни! Самые невзгоды тех дней теперь представляются счастьем. Как буйно бились тогда чувства!

И десять лет того времени пустяк? Не может быть.

Не верю, что скворца при мне удерживала любовь только к творцу.



СЛОНЫ ПРИЕХАЛИ

Индианка

Приехали четыре знатных индианки. Их просторный, особенно прочный вагон не отличался роскошью обстановки: там лежало грудami сено и стояли кадки для воды. В кадки на станциях накачивали воду насосом.

На вокзале множество встречающих, толпы любопытных, усиленный наряд милиции. Не хватает только оркестра.

К сожалению, огромный вагон знатных путешественниц не плотно стал к платформе, а паровоз, чересчур поторопившись, ушел. Двадцатилетняя индианка Бэби отказалась выйти из вагона, указывая на пол-аршинный зазор между вагоном и платформой. Это была явная придирка: ей ничего не стоило перешагнуть такую пропасть. Но как быть с капризницей, которая весит сто двадцать пудов?

Ее подруга, более положительная, весящая сто шестьдесят пудов, спокойно вышла из вагона и, когда ее попросили, легко и просто подвинула вплотную вагон с тремя увесистыми спутниками. Стоит упираться из-за пустяков!

Но Бэби продолжала капризничать. Тогда на нее надели цепь, и старшая, благоразумная, вытащила шалунью из вагона.

Вышли и остальные стопудовые индианки, достигшие едва двадцатой весны своей жизни.

Итак, приехали четыре слонихи через Гамбург, через Германию железными дорогами. Они повидали много наших городов, заканчивают артистическое путешествие по СССР. Это обруселые слонихи, но несомненно индийского происхождения.

Нельзя сказать, что по команде, — нет, по просьбе, сказанной очень тихо, они легли и дали закутать себя попонами. Ничего, плотный чехольчик: сбруя ломовика, везущего огромный воз, — детская игрушка перед этими пряжками и ремнями.

Встав, слониха вытягивает, поднимает переднюю ногу, и по толстой ноге, как по бревну, проворно взбирается проводник и удобно усаживается на широком темени между ушами, одетыми в теплые войлочные наушники.

Слоновьи уши очень нежны: не прикрыть, так обмерзнут при первом снеге.

Величественное шествие трогается. Впереди выступает старшая, почти взрослая. Ей сорок пять лет, зовут ее не то по-английски, не то по-немецки, незапоминаемо. Она отвечает за порядок. Она ведет Бэби на цепочке, на всякий случай, чтобы та, резвясь, не нашлалила.

Где-то на юге Бэби ушла из цирка и часа четыре гуляла по улицам, пока это ей не надоело. Теперь она идет на «цепочке», довольно прочной. Трое бодрых немцев таскают эту цепь с трудом, но... но ведь это, в сущности, по-слоновьи — нитка. Слону очень просто ее перервать, и тогда что же с ним делать? Побоев, страшных быку или лошади, слон даже не заметит. Его бесполезно бить хотя бы чугунной палкой. Он повинуется слову вожака, понимает его вполне отчетливо. Если слон заупрямится, не слушается, а все-таки надо заставить его что-нибудь сделать, то пускают в ход пол-аршинный стальной крючок, довольно острый: им задевают слона под хобот — и громадина в повиновении.

По улицам слоних провели торжественно. Но при входе в цирк оказалось, что половина ворот засыпана снегом и открыта криво: слону не пройти. Где лопаты? Их нет. Десяток очень крепких парней цепляется за злосчастную створку, тянут изо всех сил, но сугроб держит крепко. Какая ничтожная беготня! Слонихе никто не говорит ни слова. Она, вытянув хобот, сначала осторожно пробует, достаточно ли прочны доски, а затем отворяет ворота настежь, как будто ничто не мешает. Сугроб, смятый в груды, отодвинут весь целиком. Путь свободен.

В глубине слоновьей утробы тихонько журчит огромный звук, точно льют воду из бутылки величиною с бочку: слониха довольна успехом своей работы.

Необыкновенный звук в то же время очень похож на хрюканье, на знакомый голос свиньи, получившей охалку вкусного корма.

Путешественниц ввели в конюшню, где раньше помещалось двенадцать лошадей. Перегородки между стойлами вынуты, и образовался

большой с каменными стенами сарай. Четыре слониhi стали в нем не слишком свободно, почти прикасаясь одна к другой и немного не доставая спинами до потолка.

Угощение для них уже приготовлено. Не угодно ли гостям сена?

Хобот — серая, покрытая поперечными бороздками, жесткая колбаса, толщину при основании с голень крупного человека, — хобот свертывается кренделем и захватывает сено. Он его берет не более, чем забирает в рот корова.

Скрученное в жгут сено отправляется в рот. Кое-кто из любопытных, проходя через соседнюю конюшню, приносит солому и предлагает ее. Но пучок соломы летит на пол, и слониха пищит обиженно, не то фыркает, не то свистит: угощают этакой дрянью! Тут же в слоновнике стоит большой ящик со свежими сосновыми опилками. Горсть их сыплют в хобот... фф-у-у-у! Слониха шумно выдувает опилки: на себя, не на пол. Опилки ей нравятся. Серая колбаса хобота забирается в ящик с опилками, как-то скрючивается там диковинным кренделем и, подхватив удивительно ловко с полведра опилок, обдаёт сухим дождем смолистого порошка всю свою огромную серую тушу. Для чистки кожи это подходяще, опилки — это хорошо. И опять довольное хрюканье журчит точно из бочки.

Я предлагаю яблоко. На конце хобота что-то вроде свиного пяточка — розового, подвижного, нюхающего. Около пяточка на конце хобота еще какой-то нежный отросток, с палец длинной, треугольный. Он шарит, щупает, схватывает. Яблоко отправляется в рот, и чудовищное хрюканье бурчит в огромной утробе. Слониха довольна, судя по звуку.

Слоновий глаз не выражает ничего. Он ясен, чист, прозрачен до какой-то необыкновенной, жуткой глубины, но непоколебим, неподвижен каменно.

Хобот живо шнырит пяточком по мне, отыскивает карман, где лежало яблоко, — и треугольный мягкий палец там ищет... Он ничего не найдет, я знаю. А вдруг да слониха на это рассердится?

Я отхожу за стену, и слышится опять не то писк, не то презрительно злобный свист, он ясно выражает недовольство: вот негодяй, дал маленькое яблочко, раздражил и ушел.

Стекланный глаз смотрит на меня. Быть может, он загорается гневом, этот каменный глаз? Нет, он по-прежнему ничего не выражает.

Около слонихи бегали, суетились, кричали, ввинчивали кольца с цепями. Это для публики, для того чтобы видно было, что слоны привязаны. Для слонов все эти штуки не имеют значения.

Они стояли смиренно огромной грудой, изумительные существа, в ожидании, когда их погонят на арену, где они будут кланяться и танцевать. Многим это нравится, а на мой вкус гораздо интереснее рассмотреть слона вот так — совсем близко, всего его ощупать и дать слону обыскать карманы.

Словоны будни

В гости к знакомым слонихам я пришел с подарком: принес пуд черного хлеба. На четырех слоних это вроде как по сухарику каждой девочке, но меня интересовало не то. Как в один глоток скушать десятифунтовую буханку? Такой кусочек уже никак не влезет в слоновий рот. Хобот спокойно берет подачку, пробует протолкнуть ее в рот. Невозможно. Тогда слон поджимает хлеб к коротеньким бивням. Буханка лопается, корка ее начинает крошиться и вот-вот упадет. Слон это как-то понимает: улавливает ли это осязанием грубо-желобчатая шкура хобота, видит ли как будто бы никуда не смотрящий стеклянно-каменный глаз? На пол падает несколько крошек не крупнее ореха, остальное проворными, почти неувидимыми сокращениями хобота сминается, вытягивается в длинную узкую колбасу, конец ее направляется в рот — и все исчезает. Так крупная рыба глотает мошку с поверхности воды: чмок! — и нет ничего.

— Хотите видеть ее язык? Эй, Роза, открой-ка рот! Полезайте рукой, она позволяет.

Я предпочитаю только видеть, как в узком конце треугольного рта торчком встает нежно-розовый язык, загибающийся внутрь рта. Он изумительно мал, этот слоновий язык: то, что видно, втрое меньше коровьего языка. Видны две плоские костяные лепешки, с ладонь величиною каждая. Это зубы.

Каменный глаз смотрит непоколебимым взглядом. А что, если махнуть перед ним палкой? Что, если почти ткнуть в него кулаком? Ничего. Ни одна ресница не вздрагивает на красноватых веках, моргающих редко, сонно. Глаз светел, ясен, безмятежно спокоен.

Такие глаза смотрели на мир, когда там еще не было человека... Должно быть, они с тех пор сохранили способность необыкновенного зрения, успевающего отличить пустую угрозу от действительной опасности. Перед тычком в глаз даже человек невольно мотает головой.

— Бэби, поворачивайся! — кричат четверо на разных языках.

— Ну, пяться, ступай назад!

Все четверо изо всех сил тянут за хвост и подмигивают мне.

— Не угодно ли попробовать?

Тяну. Очень странная штука слоновий хвост. Он висит тряпкой, со-сулькой, кажется очень маленьким, тонким: это от величины слона. Хвост толщиной с руку и немного помягче железа: сверху кожа слегка мягчит, а внутри плотные камни. Под удар этого хвостика, когда он размахивает раздраженно, человек не должен попадать. Хвост раздрабит череп.

Итак, пятеро тянут за хвост. Слониха не обращает на них ни малейшего внимания. Огромными тряпками висящие уши шевелятся, слегка похлопывают: слониха слушает, что кричат. Она оглядывается, осматривает пол позади себя и переступает на шаг, куда находит нужным.

А эти там, что тянут за хвост, могут суетиться, сколько им угодно, — пустяки.

Что поняла она? На каком языке? Или слонам все языки безразличны, и им говорит что-то самый звук человеческого голоса? И что он говорит?

Особый, странный разум живет в этих огромных головах, но тут же и глупость скота. Вон Роза то и дело шарит хоботом по стене. Вчера она там отвернула кран, устроила целый потоп. Кран заделали наглухо, начасто, ничего там нет, а она с бараньей тупостью продолжает шарить.

Тишина. Слоники, подбирая сено, насыпанное им до колен, слегка пыхтят, да шелестят сухие стебли клевера.

Кормление

Я ухажу часа на два. Едва я возвращаюсь к слонихам, мне на встречу протягиваются четыре хобота. Принес хлеба? Нет. Не стоит его и нюхать. Сено скручивается жгутиками и отправляется куда следует: в рот. Один из жгутов опускается в кадку, тщательно вытирает ее бока, дно и, подобрав там остатки влажного овса, только тогда съедается. Басистое хрюканье журчит в глубине серой туши, и Бэби, довольная, покачивается на толстенных ногах: удалось полакомиться. Вдруг она пищит злобно и пронзительно: Роза засунула ей в ухо конец хобота.

Они скоро мирятся и стоят спокойно. Пол чист, как будто его вымели: сено подобрано до последней травинки. Слоники, держа свернутые в крендель хоботы между коленями, все слегка покачиваются мерно и однообразно. Что это значит? Забота о пищеварении? Тоскливые думы о будущих скитаниях? Сверкающие сны — воспоминания о прежней жизни? Похоже на то, что хозяйки просто дремлют.

В таком случае гостю остается только уйти.

Бетти обижена

— Мы с Бетти старые знакомые, — говорил, подходя к клетке слонихи, мой спутник, — я привез ее сюда восемнадцать лет назад вот таким шкетиком. Тогда в Сибири продавался зверинец, и я купил ее для зоосада вместе с ее сестренкой Кетти. Они обе свободно помещались в одной телеге. Здравствуй, Беттинька!

Слониха в ответ не то пищит, не то свистит.

— Что случилось, Беттинька? Чем ты недовольна? Здорова ли?

— Все в порядке, — удостоверяет человек, подметающий пол около ног, похожих на столбы, — и ела и пила. Все хорошо.

— Кетти погибла из-за пустяка, — продолжает мой спутник. — В трудное время, в 1919 и 1920 годах, зверей кормили объедками из столовых. И вот среди хлеба попал Кетти как-то кусок сала; она, не до-

смотрев, его проглотила — и воспаление кишок, не могли спасти. Бросьте вашу палку вон в тот угол. Бетти, подай!

Шагают столбы-ноги, движется огромная серая туша, хобот хватается палку. Слон, как собачонка, подает поноску своему повелителю. Даже неловко как-то.

— Палка не моя, Бетти. Вот этому гражданину отдай, не мне.

Голова каменно неподвижным, прозрачным глазом обращается ко мне, хобот протягивает палку. Взяв ее, я предлагаю яблоко, хобот схватывает, скрючивается, отправляет подачку в рот, и странный звук, точно чудовищное хрюканье, дрожит внутри диковинного существа.

— Ну-ка, Степан, дайте ей поносить себя.

— В другой раз пожалуйте, — несколько смущенно отвечал служитель, — сегодня нельзя.

— Это почему? Показали бы гостю представление.

— Я с удовольствием бы, да нельзя. Утром за уборкой я, извините, обругал ее нехорошо. Нет, сегодня носить не дам.

— Ах, вот на что она жаловалась! Ну, делать нечего.

— Может быть, и трогать ее небезопасно. А я-то ее и за уши и за хвост. Как же вы, Степан, не сказали?

— Ничего, не беспокойтесь, это она только на меня сердита. Да ведь не что-нибудь особенное, у нас это бывает: поссоримся, сегодня она сердится, завтра простит.

— Ну, до свиданья, Беттинька; в следующий раз будешь полюбезнее, а?

Слониха молчала. Она еще не забыла оскорбления, нанесенного четыре часа назад. Хрюкнуть на прощанье разок, конечно, ничего не стоит, пустое дело, все равно что поздороваться, а нет, не хрюкну. Не надо было ругаться.



СМЕРТЬ СЛОНА

Сверху упало дерево и больно ударило слоненка по спине около хвоста. Лошадь или быка такой удар убил бы наповал, но молодой слон только хрюкнул и, слегка волоча задние ноги, побежал, спасаясь от

охотников. Его настигли, повалили, связали. Он ревел еще визгливым голосом, пыхтел, задыхался, хрипел. Кругом стояли, держа в хоботах цепи, огромные, старые, давно порабощенные человеком слоны. Они страшно дрались этими цепями и угрожали ударить еще.

Слоненок встал и, еле переступая спутанными ногами, покорно побрел в какую-то загородку из толстых бревен, куда, крича, гнали его черные, почти голые люди. Он там простоял всю ночь, дрожа от ужаса и бешенства, — всю длинную страшную ночь, полную диких криков, рева слонов, ударов, толчков, выстрелов, красных огней.

Утром стало видно, что за решеткой блестит вода и грудой лежат нежно-зеленые свежие ветви. Едва слоненок, войдя за решетку, опустил хобот в кадку с водой, за ним шумно опустилась решетчатая дверь: он оказался в клетке. Конечно, он мог ее легко сломать, но они опять стояли тут — пленные старики — слоны с цепями в хоботах.

Боялся ли он побоев, сообразил ли, что домашним слонам не плохо живется? Он больше не сопротивлялся и даже не кричал, когда его клетка покатила на колесах. Слоны притащили ее к железной дороге и, угрожая цепями, перегнали слоненка из клетки в вагон.

Около слоненка теперь всегда суетились, кричали, смеялись белые люди. Они давали есть, приносили воду. Можно было не только пить вволю, но и окачиваться, пуская из хобота обильную струю дождем. Один человек, чаще всех появлявшийся около слона, осыпал его мокрым песком и стал счищать связкой прутьев на длинной палке песок, прилипший к спине и бокам. Слон захрюкал от удовольствия. Былало, старая слониха, его мать, водила его маленького на пустынную отшель реки, посыпала песком и, набрав в хобот воды, поливала, пока серая кожа его не становилась гладкой и блестящей.

Человек с метлой кричал что-то, указывая то на его голову, то на его ногу. Ну, понятное дело: где же ему, недоростку, достать до слоновьих ушей. Слон подогнул колени и лег. Человек, поливая его водой и посыпая чем-то, похожим на песок, вымыл, вычистил огромную голову, уши, хобот. Это было очень приятно. Слон охотно подставлял вытянутую ногу, чтобы по ней, как по лестнице, человек мог забраться к нему на шею, на спину и лазить по ней, сколько ему хотелось, везде — до того места, где тогда, в ту ночь ударило дерево. Там образовалась черная лепешка с большой поднос величиной. Если человек ее трогал, слон брал его хоботом, ставил на землю и сердито фыркал и пищал: он не желал убивать человека, но не позволял делать себе больно. Лепешка, впрочем, съеживалась и постепенно исчезала с каждым днем.

Переход из клетки в вагон, из вагона по улицам сквозь шум и возню людей — такой переход стал для слона привычным делом. Погрузка на пароход немножко напугала. Клетка со слонем вдруг взвилась куда-то высоко в воздух. Это ее подняли краном. Кончилось все благополучно: дали есть, пить и вычистили. Другой человек кричал другие слова, но так же, как и тот, указывал слону на голову, лазил по ноге

и приятно хлопал по спине метлой. Не все ли равно, какие слова? Пусть кричит и лазит.

Сколько клеток, сколько вагонов сменилось, по каким дорогам, какие страны проехали, — это опять-таки все равно. Ясно, что в прохладную тень леса слону не вернуться никогда.

И он ел, пил, спал за решеткой зоопарка. Ее чугунные палки, вделанные в камень, он мог бы согнуть так же легко, как сломать жерди той деревянной клетки, в которую его поймали. Тогда он был слоненком ростом с быка, весил 60 пудов. Теперь, через десять лет, он стал вдвое тяжелее и вырос; для него за решеткой выстроили из серого камня особый дом, куда он, огромный слон, уходит спать или просто постоять спокойно в одиночестве, отдохнуть от непрерывно идущих мимо зрителей.

Одно время кормить его и чистить клетку приходил плохой человек. Он злобно кричал что-то отвратительное и без всякого толку постоянно угрожал схватить острым крючком за хобот. Конечно, очень просто и отнять крючок и убить обидчика одним толчком ноги, но для чего это делать? Убежать некуда. Слон смиренно жевал сено, окачивался из хобота водой и, принимая от зрителей мелкие монеты, передавал их служителю.

Он выучился различать деньги: за очень маленькую желтую медяшку служитель дает картофелину, за большую — две—три, а за белую серебряную монету отсыплет десяток. Свое удовольствие слон выражал чем-то вроде хрюканья: особенный, чудовищный звук дрожал где-то в глубине его серой туши. Когда слону что-нибудь не нравилось, он шумно дул хоботом, фыркал и пищал.

«Джолли!» С этим словом к нему почему-то обращаются все, называют его так. Ну, пусть Джолли.

Однажды ночью слон подал свой полный голос. Он разбудил всех. Зарычали медведи, рывкнул лев, и вой волков слился с криком взметнувшихся птиц. Служитель прибежал, ругаясь, к клетке слона.

— Чего орешь? Тут тебе не Индия. Молчать, а то вот!

Он вбежал в клетку, протягивая крючок. Но слон, эта серая неподвижная гряда, схватил ненавистного человека с такой быстротой, что тот не успел даже крикнуть. Хобот выбросил его из клетки, как муху, как клочок сена.

А слон бешено трубил, и страшный звук, неслыханный в городе, наполнил весь сад, несясь по улицам.

Около клетки суетились: поднимали служителя, упавшего счастливо в кусты.

— Что случилось, Джолли? — кричали взволнованные голоса.

Как будто он мог что-нибудь ответить! Почувствовал ли слон, что он достиг расцвета могучих сил, что пришла пора ему крикнуть, как кричат его сверстники во мраке джунглей? Вспомнил ли, увидел ли он во сне ту страшную ночь плена, дым факелов и дикий крик? Или заболела спина, ушибленная тогда деревом?

Утром его каменно-прозрачные глаза по-прежнему спокойно посматривали на зрителей. Он принимал деньги и как ни в чем не бывало покупал на них картофель у нового служителя.

Этот не ругался никогда, не курил (этого Джолли терпеть не мог), говорил ровным тихим голосом. И слон скоро стал понимать каждое его слово. Правую или левую ногу поднять? Показывать не надо, — достаточно сказать: порядочный слон знает, где право, где лево. Подвинуться на шаг, на два? Это как угодно. Взять человека на спину? Можно, очень просто, вот! Уйти совсем, к себе в слоновью комнату? Извольте!

— С. Джолли дело неладно, — сказал, придя в контору зоопарка, служитель, — он по ночам плачет и все на спине у себя чего-то ищет.

Вот чепуха, вот выдумки! Плачет слон? Что же может быть у него на спине?

Собрали врачей, осмотрели драгоценное животное со всех сторон от хвоста до конца хобота, где шевелится странно нежный палец. Слон ложился, переворачивался с боку на бок, показывал подошвы и сгибы всех четырех ног. По серой спине ходили, стучали кулаками, ногами, становились на нее сразу четверо. Все в порядке. Здоров слон. Вдруг страшный рев опять взбудоражил ночь.

— Друг ты мой милый, — говорил, держась за хобот, человек, — что с тобой? Вот беда. Ты все понимаешь, тебя не понять.

А слон сидел и трубил. В джунглях слоны трубят, когда зовут на смертный бой соперников. Тут драться было не с кем, но слон видел перед собой смерть: задние ноги его не действовали. Он отказался от корма.

— Да ты хоть выпей, — уговаривал друг, — ну выпей чуточку, Джоллинька.

И подставлял ведро. Но слон только дул на воду. К вечеру он стал на колени, простоял так часа два и повалился на бок. Тучи мух вились над ним.

— Пролежни образовались, — сказал врач, — везде, где складки кожи, у него раны. Жарко. Тяжесть страшная. Спасенья нет; надо его усыпить.

Слон лежал спокойно. Недвижно каменный глаз его, прозрачный и светлый, не отрываясь смотрел на человека, державшего его за хобот.

— Джоллинька, ну что уж тут, деваться некуда, прими лекарство, ну сделай милость, выпей для меня, — плача уговаривал друг.

Слон повернулся, тяжело волоча безжизненный зад, стал на колени, взял хоботом из рук друга бутылку и опрокинул ее себе в рот. Отбросив пустую, он вытянул хобот, и звук чудовищной трубы на миг задрожал в воздухе. Глаза слона закрылись; он дышал со свистом, и шум его дыхания заглушал жужжанье мух над серой тушей. Вдруг слышно стало только мух. Слон покачулся и упал на бок мертвый.



МЕДВЕЖЬЯ ХВОРЬ

— Франц пишет, что ему белого медведя за пять фунтов стерлингов предлагают.

— Значит, за полсотню рублей. Грошовая цена для медведя. Долого, что ли, продают?

— Англичане считают, что медведь скоро околеет, и сбывают его, а Франц надеется вылечить.

— Никогда не слыхивал про лечение белого медведя. Ну да ладно, расчет маленький, берем.

Так разговаривали в конторе зверинца два человека, и третьему в Лондон из Ленинграда полетела телеграмма: «Взять медведя».

Когда грузили на пароход клетку с медведем, огромный белый зверь лежал врастажку, ухом на полу. Он не ел уже несколько дней; из носа, из пасти у него текла пена, он кашлял, и дыхание страшно свистело в его могучей груди.

— Простудился бедный Мишка, — объяснял распорядившийся около клетки маленький старичок с большими усами, — у него бронхит, дело поправимое. Капитан, вы можете мне устроить медведю баню?

— Я слонов возил, — спокойно отвечал моряк, — меня удивить ничем нельзя, но в первый раз слышу о простуде белого медведя. И бани медвежьей на пароходе нет.

— Пар в клетку можете дать?

— Это очень просто.

— А соломы?

— Сколько угодно.

Шуршащими золотистыми стеблями набили клетку плотно, обвязали снаружи войлоком.

Медведь под мягкой грудой лежал молча. Но зашипели медные трубки, выпуская струи пара, горячими волнами за клубился воздух, и затряслась вся клетка; из вороха соломы послышался придушенный страшный вой.

Что же это в самом деле? Белому медведю подходят льды, снега, морозы, а тут вдруг — кипящий пар. Остается только выть, у-у-у!

— Ничего, голубчик, потерпи, — бормотал около клетки человек, — испарина у тебя должна быть. Потом я тебя высушу потихоньку, полегоныку. Все будет хорошо, поправишься.

— А кормить ребеночка чем? — зубоскалили матросы. — Молочком, яйцами всмятку?

— Нет, тюлений жир приготовлен, бочка.

— На год?

— Месяца на два.

— Да лопнет ваш Мишка!

— Только пополнеет.

Из клетки закапала вода, потекла ручьем. Солому осторожно сняли. Медведь лежал, вытянув передние лапы, на животе, точно облепленный шерстью, мокрый, но голову держал высоко.

— Пожалуйте, кушать подано, — суетился около клетки усац, продвигая в дверцу лоханку с тюленьим жиром.

При виде любимого кушанья медведь крикнул, засопел. Басистый хриплый рев глухо задрожал в глубине огромной туши. Медведь встал, качаясь на лапах, подошел к лоханке и, чмокая, хлюпая, чавкая, принялся за еду.

— Хо-хо! — смеялись кругом зрители. — Если по такой бадье в день уплетать, живо растолстеет.

— Медвежонка мать еще молоком кормит, а тюлениной уже угощает, — рассказывал старичок. — Медведь за тюленьим стадом иной раз целый день плавает, только нос из воды выставит, или у продушины во льду сидит, поджидает, не высунется ли тюлень. Тогда лапой цоп! Без тюленьего жира взрослому медведю нет настоящего житья. Медвежонок вырастет злой, хилый, купаться не станет. Ну, сыт? Теперь спать ложись.

Клетку сверху войлока обвязали брезентом, чтобы медведя не продуло.

Пароход пыхтел, дымил, свистел, подходил к порту.

В зверинце человек, гордо закручивая большущие усы, хвастался своим медведем:

— Этому зверине цена полторы тысячи, а я его за пятьдесят рублей купил. Говорили: сдохнет, не довезу. Не угодно ли нас посмотреть! Миша, яблочка? На!

Огромный зверь, расхаживая за решеткой, рычал хриплым басом, качал плосколобой головой и хватал подачку.

Среди льдин, снега, у зеленых волн полярного моря не растет ничего похожего на яблоки. Но медведь уже давно оттуда; он привык к невиданным раньше очень странным вещам: он любит яблоки, морковь, пьет молоко.

— А жиру хочешь?

Даже слово «жир» медведь знает. Известно, что это значит: несут знакомый таз, наливают желтую тягучую жидкость. Это угощение вкусней всего, и зверь радостно ворчит.

Он ест рыбу, мясо, хлеб, картофель. Корм — обильный, разнообразный корм, а медведь заметно худеет, становится скучным, огрызается, злится. Опять захворал медведь; но как узнать, что у него болит?

Усац сидел около медведя днем, приходил к нему ночью, смотрел, как ест, спит, топчется за решеткой спасенный от гибели, привезенный из-за моря зверь.

— Тигру горчичник ставил, льву лапы перевязывал, те понимают,

а с этой косматой дубиной, право, не знаю, что делать, — грустно жаловался на своего любимца усач.

Утром целое ведро рыбы высыпали медведю в неприбранную клетку, и зверь, тихонько ворча, жадно подбирал, звучно жевал серебристую мелочь.

— Ба, налимы тут! — вскрикнул усач, присмотревшись к медвежьей еде. — Вот беда! Как было раньше не догадаться? Ах, бедняга! Отравили его гадостью.

— Вона, живыми налимами не угодили, — обиженно сказал служитель, начиная чистить клетку. — Стерлядей, что ли, вашему медведю подавать? Жирно будет.

Усач, не отвечая, выхватил у служителя метлу, сгреб в железный совок остатки медвежьего завтрака, рыбы огрызки, всю нечистоту клетки и убежал, унося совок.

Вечером, крутя свои усищи, он весело болтал в конторе:

— Пустяки с Мишенькой. Сделано исследование. У него ленточные глисты от налимов. Самая подлая рыба. Потрудитесь касторки мне доставить. Сколько? Порядочно, килограмма по четыре на прием, да-с.

У клетки, наливая из бутылки в знакомый таз, усач подмигивал медведю.

— Ну-ка, дядя, хлопни. Это тебе не тюлений жир, а делать нечего, надо выпить. Нам нужен богатырь-медведь, а не медвежий остов. Пей!

Медведь понюхал, пофыркал и выпил целый таз касторового масла, вылизал досуха: понравилось.

— Приятно иметь дело с таким покладистым парнем, — смеялся усач, угощая зверину лекарством, — касторку тянет ведрами без всякой закуски. Хорошо действует на тебя? Кушай, милый, на здоровье!

Зверь признал уже бутыл, радостно пыхтел при ее появлении.

— Этак ты, смотри, умным не сделайся, — бормотал усач. — Да ладно, с дураком проживем, только здоров будь!

Медведь полнел, перелинял, оделся роскошным густым мехом.

Усатый человек, довольный, гордый, сыпал шутками, хвастался всем, кто подходил к клетке великолепного зверя.

Вдруг страшный крик переполошил зверинец. Старый добродушный усач трясся от злобы, топал и вопил у клетки медведя:

— Нет, так нельзя! Это безобразие! Это последнее дело!

Стопнулись служители, прибежали из конторы.

— Да что случилось?

Старик в бешенстве показывал на крупную мертвую крысу, лежавшую у клетки его любимца.

— Видите? Это позор! Ужас! Смерть!

— Милый Франц Оттович, это всего только крыса.

— Как вы не понимаете? Мишка ее убил, случайно выбросил из

клетки, а мог съесть. Тогда заражение трихинами и — конец, не спасти ничем. Нет, или зверей держать, или крыс. Нет, так нельзя!

Унесли злосчастную крысу. Строжайше запретили оставлять у медведя на ночь какие-нибудь объедки. Осмотрели пол, стены, заделали в них все дырки. Наконец рядом с медведем посадили кошку.

Все пошло хорошо. Великан-медведь рассказывает за решеткой. К его клетке часто подходит старичок с большими усами, треплет медведя по плоскому лбу и говорит:

— Хорош зверина, а вот тут, в башке, у него безнадежно. Глуп совсем. Только потрогать дает, никакой ласки не понимает. Предельный вес европейского белого медведя килограммов триста, граждане; этот с острова Врангеля. Надеюсь откормить его до пятисот. Больше сказать о нем нечего.



ОСВОБОЖДЕННЫЙ МЕДВЕДЬ

— Эй, Фомка, будет спать! Вылезай, — кричал человек у клетки, — а то поливать буду!

Белый медведь просыпался, вставал, потягивался и зевал с таким угрюмым видом, как будто он сердит.

На самом деле окачивание водой ему очень нравилось.

Откуда-то из стены, из серой кишки, направляемой человеком, буйно неслась холодная струя и обдавала всего медведя освежающим потоком. Конечно, поплавать, нырнуть в морскую волну среди синих льдин много лучше, но это почти забыто, так давно оно было. Вот уже сколько лет прошло в клетке! Кормят, мясо дают, молоко, изредка — самое вкусное — рыбий жир наливают. Скучно, тесно, всегда в духоте за решеткой, надоедает толпа людей, но... сытно, никаких хлопот, и можно привыкнуть спать, не обращая ни на кого внимания. Медведь благополучно рос, полнел, роскошной шубой висел его густой, тяжелый белый мех.

— Замечательная скотина, — смеялся у клетки человек. — На воле такому увальню не откормиться. Ну, и дурак же: ничего не понимает. Про тебя, Фомка, говорю: глуп, братец. Ну, не беда, не всем умными быть. Поворачивайся, полюю.

Фомка? Пусть. Все равно медведю, как ни называться. Окатиться водой? Всегда согласен. Лей, больше лей, так, чтобы с каждой шерстинки потекло. Ух!

Огромный зверь охотно подставлял под струю то один бок, то другой.

— Перекувырнись! — кричал человек. — Вот чучело! Ты смотри, как умные-то медведи делают. Машка, кувырк! Пряник дам.

За соседней решеткой бурая медведица при таком крике перевертывалась через голову, получала подачку, а толпа около клетки хохотала. Это представление повторялось так часто, что стало привычным, вошло в плоскую белую голову медведя. И вот однажды, когда человек, ласково крича, сутился, разматывая со стены знакомую серую кишку, зверина, ухнув, повалился на спину и поднял все четыре косматые лапы.

— Ай да Фомка! — радостно хохотал человек. — Нет, он не дурак, он догадался. Кушай, умница, я тебе еще дам, милый ты мой, кушай!

Слова медведю непонятны, но таз наполняется рыбьим жиром — любимым кушаньем, приносят рыбу. Каждый раз так делают, как только кувыркнуется? Да, каждый раз. Так это очень просто: кувырк, вот вам и все.

То, что он понял, засело накрепко в скудной памяти медведя. Единственный свой нехитрый номер он изучал несколько лет, но, одолев, показывал его без осечки.

Уже другой человек поливал медведя водой, зверинец переезжал из города в город; везде Фомка получал добавочное угощение за то, что, лежа на спине, поднимал лапы.

Почти всегда ему было жарко, несмотря на поливку. Клетку с великаном-медведем таскали то из вагона на телегу, то с телеги в вагон десятка три людей. Они при установке стучали, кричали, ругались, курили. Медведь все видел, слышал, ко всему привык. Едва оставляли его в покое, он спал, повернув нос к той стороне клетки, где не было стены дома, где клетка от свежего воздуха отделялась лишь решеткой.

По железной дороге возили часто. Медведю не все ли равно, куда его везут? Он спал в темноте под стук колес.

Приехали. После долгой, тягостной тряски в вагоне, после обычной возни с установкой клетки стало совсем хорошо: свежо, прохладно. За решеткой мелькали, кружась, неслись вихрем белые хлопья.

— Чтoб ты издох! — сердито бормотал человек. — Тут от холода не знаешь, куда деваться, а его поливай, этакую орясину. Ну, поворачивайся!

Медведь не понимал. Чего сердиться? Славно тут жить: вольно, легко дышится. Угодно? Он перекувыркнулся и лапы поднял, как полагается. Но ему не дали никакого угощения. Целый день прошел без еды.

— Вот я ему покажу! — злобно кричал ночью человек, стуча железом у наружной решетки клетки. — Завез к чертям на кулички, голодом морит, денег не платит. Фомка, лезь наружу, пошел вон!

Медведь ничего не понимал. Человек стал толкать его острой железной палкой.

— Ступай к своей родне, к медведям, передохнуть вам всем. Будет он меня помнить. Пошел, пошел!

Палка больно тыкала в бока, в спину. Что такое? Решетка клетки отпала. Медведь спрыгнул на снег, проковылял немного, ткнулся носом, радостно лег на спину, подняв лапы.

— Да пошел же, дурак! — орал, качаясь, откуда-то взявшийся человек. — Убирайся прочь совсем! Гуляй, Фомка, за мое здоровье! Вот я тебя!

И он наступал, страшно размахивая палкой. Тогда зверь вскочил и побежал, сам не зная куда, в сугробы снега, в темноту ночи.

Какие-то жерди, плетни, загородки он смахивал, опрокидывал ударом лапы. У берега, провалившись всей тяжелой тушей в воду, медведь окунулся и, выбравшись на лед, даже рывкнул от удовольствия: давно он так хорошо не купался.

В морозной мгле туманно серо встало утро. Необозримый простор, воля, холод — все очень хорошо, но есть нечего. Вот принесенные откуда-то волнами, примерзли две ноги лошади. Они еще держатся вместе, остатки хвоста видны на них, но мяса почти нет, они побывали в голодных зубах, они уже обглоданы почти дочиستا. Злобно ворча, медведь погрыз, пососал какие-то обрывки на костях и бросил негодную добычу.

Тюленей он подсмотрел с десяток у незамерзающей воды. Он помнил, как медведица, его мать, выслеживала такие темные пятна на сверкающей белизне по краю ледяного поля. И он пополз, как она, прикрывая лапой свой черный нос, стал красться тихонько, осторожно. Но в его движениях не хватало хищной легкости вольного зверя; он отяжелел, стал неловок, сидя в клетке, и лапы его, неуклюже чиркнув по мелким ледяшкам, зашуршали. В тот же миг тюлени исчезли; юркнули в синюю глубину. Голодный медведь, подняв голову, заревел злобно и жалобно. Ни малейшего отзвука. Никто не идет на помощь. Медведь то шел, то бежал по ледяной пустыне, пока не стемнело, и, не найдя ничего съедобного, ворча, задремал между каких-то мерзлых глыб, измученный и встревоженный, как никогда.

Утром, едва бледно-золотые полосы зари протянулись по небу, ветер принес что-то знакомое. Пахнуло табаком, дымом, теплом, человеком, слышались крик, стук, шум. Неподалеку охотники устроили становище и, собираясь на промысел, спускали на воду лодки. Что мог знать об этом медведь? Он слышал, видел только привычную возню и пошел прямо к ней. Быть может, втащат и уставят его клетку, дадут ему поесть.

Прежде чем заметили зверя люди, к нему навстречу кинулись собаки. Они остановились перед ним яростным полукругом и, ошетинившись, бешено выли, свирепые, остроухие северные псы.

— Медведь, медведь! — орали на становище. — Фомка, винтовку скорей! Стреляй, Фомка!

Вон что... Фомка! Его тут зовут? Медведь бодро двинулся к людям, слегка огрызаясь на воющую стаю. Ну что ж, он послушный медведь, он может, он согласен показать хороший характер и все свое искусство, лишь бы дали поесть. Он наклонил голову, готовясь перекувыркнуться.

— Фомка, в морду не стреляй, промажешь. Сбоку заходи, под лопатку бери. Пли!

В тот миг, как медведь повалился на спину, стукнул выстрел. В медведе что-тобрякнуло, ухнуло, заклокотало. Поднятые лапы его кое-как размахивали в воздухе. Собаки, не решаясь его схватить, выли и металась кругом. Вдруг они все помчались прочь от него, по его следу. Там, где виднелись отпечатки когтистых лап, скользя на лыжах по снегу, стремглав бежал человек, растрепанный, красный, мокрый. Он махал шапкой, плакал, плевал, ругался и кричал:

— Не смей, не тронь! Кто стрелял? Зарежу! Мой медведь. Это я сдуру, спяна его прогнал. Фомушка, голубчик, жив ли? Может, они в тебя не попали. А-а-а!..

Медведь, держа лапы вверх, лежал тяжелой грудой мертвый: пуля пробила ему сердце.



ДОМАШНИЕ ЛЬВЫ

Львиная кухня

Острием ножа человек скоблит большой кусок мяса и то, что остается на ноже — какую-то темно-красную кашницу, — собирает в чашку. Кашница пойдет новорожденным львям. Мякоть мяса разрезается на куски величиной с ладонь: их получают шестимесячные «котятa» ростом с собаку.

Топор, привычными движениями разрубая кости, быстро-быстро делит конскую тушу на почти равные части: взрослому льву полагается

4—5 килограммов конины ежедневно. Развешивать некогда, едва хватает времени на глаз раздать мясо трех лошадей сотне львов.

Двое «поваров» в белых халатах рубят, режут, двое бегают, разнося в ведрах кровавую пищу. И при напряженной работе приготовление львиного обеда требует не менее двух часов. Запах у кухни очень плохой и вид совсем невкусный.

Бедные узники, львы! Убитая собственными лапами антилопа, несомненно, много лучше, и свежий воздух пустыни, конечно, хорош, но где ж их взять?

Обед

Львы кушают конину с удовольствием. При всей их величественной наружности они и на воле не брезгают падалью. Мясо кидают сверху в клетку, где толпятся шестнадцать львов. Каждый ждет свой кусок — толкаются слегка, чуть-чуть рычат, но не отнимают, и настоящей драки, злобного рева нет. Обьедков, обглоданных дочиста костей иной обжора или скряга наберет под лапы от троих, ему никто не мешает, но основной полноценный кусок каждому свой один: это закон.

Сосут и лижут, пытая, грызут с довольным ворчанием. Точно огромный котел бурлит, закипая. И вдруг удар грома заглушает все. Это льву показалось, что сосед протянул лапу к его куску, и грозный окрик грянул: не тронь, нельзя! Но драться все-таки не из-за чего, и обед продолжается мирно.

На полу вагона, где они две недели назад родились, светло-желтые львята, сусюкая, чавкают мясную кашицу. Львица-мать голодна, она еще не получила своего куска, она жадно облизывается, но только смотрит, как лобастые головенки ее котят суются в чашку с кормом. Когда же они, насытившись, отползают к ее сосцам, она, не вставая, в один миг слизывает все, что осталось в чашке и около нее, — и подчищать не надо. На укротителя львица смотрит довольно приветливо и лишь слегка двигает ушами, когда он, протянув руку в клетку, подтаскивает львят к решетке. Но едва он ушел, взор темно-золотистых львиных глаз становится сумрачным и строгим. Львица загораживает собой львят и зевает шумно раз, другой. Нечего тут посторонним людям глядеть на детей. Это выражается так ясно, что остается только уйти.

Всегда на казне

Взрослый лев, высовывая лапу сквозь решетку, шутит со служителем. Тот выметает шваброй опилки, покрывающие асфальтовый пол клетки. Лев, играя, тихонько цапает мочальную щетку, и странно видеть, как он шаловливо дыбит космато-гривастую голову: точь-в-точь кот хватает бумажку на нитке.

— Рекс! Аннибал! Примус! Эй вы все, пошли сюда!

По узкому коридору, между чугунными решетками, идет человек в халате, в туфлях, с сигарой в зубах. На плече у него висит кнут, по-видимому, ненужный. Это укротитель, дрессировщик, воспитатель львов. Он называет по именам всех: львиц, львят и гривастых самцов — постороннему различить их невозможно, — добродушно посмеиваясь, говорит им что-то по-немецки, еще на каком-то языке, и, кажется, слова его имеют больше значения, чем безобидный кнут. Впрочем, он иногда хлопывает этим страшным бичом, перегоняя свое покорное стадо из одной клетки в другую. Тут уже прибрано, отсюда унесены огрызки от обеда, сюда насыпаны свежие опилки. И звери, вытянув по-кошачьи лапы, ложатся тесно друг к другу; иной кладет голову на спину соседа. После закуски что же делать? Конечно, спать.

Вот железные бока. Никогда никакой подстилки, кроме тонкого слоя опилок, и — ничего, спят крепким сном. А укротитель в халате удаляется весь мокрый, как будто его полили из ведра. С чего бы это? Казалось бы, вовсе не трудная работа...

Львиный век

С асфальта клетки в вагон, из вагона на асфальт, прогулка — несколько шагов по коридору, развлечение — получасовая беготня на арене. Вечно в спертом воздухе при плохом питании кониной — и такую жизнь лев терпит двадцать пять лет, изредка даже больше.

Они, впрочем, хворают, львы. От недостатка движения они не в состоянии хорошо переваривать даже скудную свою пищу. Поэтому раз в неделю их кормят только молоком. Случается, что болят не только животы, бывают и другие болезни. У одного льва недавно был ларингит, воспаление гортани. Больной в отвратительном настроении, чихал, плевал и кашлял. Если воспаление пойдет внутрь, в легкие, животное может пропасть. Как дать льву порошок, как поставить горчичник? С мяса лекарство лев съест, не станет есть, а прикрепить к львиному горлу жгучую тряпку не нашлось охотника. Тогда льва стали дразнить из-за решетки хлыстом. Зверина рывкнул, раскрыв пасть, и туда в этот миг искусный врач из трубки вдунул порошок, облепивший льву нёбо: волей-неволей пришлось слизать и проглотить снадобье. Так же из трубки прижгли и снаружи горло, только вместо порошка приснули жидкостью. Лев поправился.

Водопой

Пьет лев долго, жадно и сердито. Он лакает, как кошка, и розовый тонкий язык подцепляет очень мало воды. Лев закрывает лапами поилку, угрожающе оглядывается и рычит. Как бы кто не отнял. По-види-

мому, вода ценится дороже мяса. Пожалуй, с полчаса продолжается утоление жажды. Сколько раз должен окунуться кошачий язык, чтобы напоить такую махину! Но выпито все, суха поилка. Лев встает, потягивается и, слегка приоткрыв пасть, не то мычит, не то вздыхает.

Чудовищный звук наполняет воздух. Из соседней клетки откликается другой лев, подхватывают еще двое. И пока они рычат, напрасно кричать изо всех сил: ничего не слышно.

Храп бешеных жеребцов, хриплый рев медведей — они слабы, ничтожны, бледны перед рыканием льва. Это не ворчание над костью, даже не громовой окрик угрозы, — нет! — он больше, он не сравним ни с каким другим голосом, этот зов, этот стон могучего зверя пустыни.



ЖИВЫЕ ЧАСЫ



СМОРЧОК И ЛАНДЫШ

Оттаяли поля, и жаворонок поет над шелком зеленей.¹

Пора идти с корзинкой в лес за весенней добычей.

По промоинам, где крутилась пена мутной воды, обнажая черные узлы давно сгнивших корней, где неожиданные потоки открыли свету и воздуху истлевшие наслоения почвы, по старым кострищам и пожарищам, где прошел огонь, оставляя свой черный след, осыпанный золой и пеплом, — там нужно отыскивать залежи палого листа. Вывороченный с корнями пенёк старой березы должен быть осмотрен так же тщательно, как ямы под рябиной или канава около дупливой ивы.

Во всех таких местечках при первых лучах весеннего солнца сырые пласты догнивающих листьев дают коротенькую жизнь плодам своей плесени — грибам, старчески сморщенным при самом появлении их на свет.

Это сморчки. Отродье лесного мусора, они всегда наполнены ничтожно мелкими остатками сучков, клочками трав и листьев, пылью, камешками. Какие-то клещики, блестящие, жесткие, проворно копошатся в этой трухе. Грязный гриб сморчок?

Нет, он чист, не дряблы его морщины, он не стар, и наружность его обманчива.

¹ Зелеными называются поля, где весной проглянули озимые хлеба,

На первый взгляд сморчок как будто в коричневой шляпке. А у него никакой шляпки нет. Это ложношляпный гриб. Из одного сплошного куска все его тело. И в складках упруго свежей ткани сморчка, очищенных от случайного сора, таится много наслаждения для едока.

Пропусту, если промыть его хорошенько да умело приготовить, то он очень вкусен, сморчок. Зажаренный в сметане, этот весенний гриб не уступит боровику.

С зеленым луком и крутыми яйцами удачно сваренный сморчок превосходен. И, мелко изрубленный, в пирожке он великолепен, печеный сморчок.

Сморчок так богат нежно-тонким благоуханием едва оттаявшей земли, как никакой другой гриб.

Только из сморчков делают пахучий порошок. Остальные грибы для этого не годятся.

В прочно закупоренной бутылке этот удивительный запас хранится десяток лет для прибавки в соус ли, в суп ли, везде, где требуется вкусный запах свежего гриба — он тут, распыленный сморчок, в самое хмурое время года со всеми весенними ароматами, вытянутыми сквозь мусор из-под снега.

К несчастью, у роскошного гриба весны, у сморчка, прескверная родня: строчок. Это также ложношляпный гриб. Он растет там же, где почтеннейший сморчок, но голова у него, у строчка, не острая, как яйцо, а плоская, широкая, толстая и не в круглых ямках, а в извилинах.

Конечно, не важное дело какая-то там грибная голова. Но сморчок всегда безопасен совершенно, а строчок очень часто ядовит. Именно этот вредный проходимец нахально втерся в торговлю под названием своего родственника. На рынке продаются большею частью строчки.

Со строчком поосторожней, граждане!

Обваривайте негодяя если уж не уксусом, то хоть просто кипятком, до какого бы то ни было приготовления. Иначе он себя покажет жестоко.

Обваренные строчки утрачивают силу вредить, могут вкусом сойти за сморчки, но настоящего сморчкового запаха у них нет.

В ольшянке напрасно искать сморчков. Терпеть не может ольхи сморчок. Почему? Лист как лист у ольхи, не хуже осинового, а вот не нравится ольха сморчку. И никак их не помирить. А до плодов сморчок охотник.

Так же в тени лиственного леса, только на почве, не запачканной скотом, растет другой вестник весны — серебристый колокольчик мая — ландыш.

У него нет мелких листков. Точно из зеленых крыльев выбрасывает ландыш из двух широких и длинных листьев тонкую былинку — стебель, украшенный белоснежными зубчатыми колокольчиками.

Ландыш пахнет сильно, далеко виден во всей своей красоте.

Для пчелы дивный цветок отвратителен вполне. В каком виде пред-

ставляется ландыш пчелиным глазам? И как принимают чувства пчелы запах, пылинки, незримо развеянные цветком в воздухе?

Пчела никогда даже не присядет на ландыш, она уверенно несется мимо.

Сок ландыша горек. Но этот горький сок гонит прочь от человека тоску взволнованной души; он ободряет измученное сердце. Попросту: уже давно изобретено чудесное лекарство — капли из сока ландыша, успокаивающие биение сердца.

У пчелы подобных сведений, очевидно, не может быть. Пчела только чувствует, что меда у ландыша нет, делать ей с ним нечего, и уверенно летит прочь.



ПОМОЩЬ ДРУЗЬЯМ

Без пернатых друзей нам не справиться с бесчисленными врагами — с насекомыми.

Эти ненасытные обжоры сосут соки растений, грызут листья, точат древесину. Летают, ползут, закапываются в землю, таятся в темноте и размножаются так, что для истребления их никаких ядов не хватает.

На место уничтоженных сотен ползунов быстро являются тысячи и опять жрут. Как будто нет спасения лесам, садам, полям, лугам и огородам?

Но с песнями, с пискom, с возней и дракой летит пернатая армия и живо принимается за дело.

Где тут гусеницы, червяки, жуки, комары и мухи? Скворцу нужно этой мелочи штук триста в день. Да скворчихе столько же. Да шесть птенцов у них в домике на березе. Их широко раскрытые клювы просят есть с утра до ночи. А сколько скворечников на окрестных деревьях? Если в каждом скворечнике съедят тысячи по две извивающихся гусениц, растреплют в клочки с тысячу жестких крыльев, то во всех скворечниках округи погибнет много ползучих и летучих врагов.

Синицы, пищухи, вертишейки, поползни, чернушки, малиновки, славки, мухоловки, горихвостки... Нет, где же их всех пересчитать! Много их, певцов, пiskuнишек, попрыгуней. У каждой свито гнездо, и в нем иногда десяток голодных клювов жадно ждет мух, комаров, мягкотелых гусениц.

Дрозды едят ягоды, а птенцов кормят червяками. Даже голубь, полудомашняя птица, клюет только зерна, а голубят жирно откармливают насекомыми. Два раза в лето выводятся прожорливые птенцы в гнездах мелких птиц и с утра до ночи глотают. Перед таким войском дрогнет несметная сила насекомых.

Когда увидишь, что дятел начал долбить дырку в коре дерева да улетел, влезь туда с долотом и закончи работу дятла. Тут, в узкой расщелине, наверное устроится гнездо.

Чаше бывает так, что лазят скворцы с утра до вечера в домик и улетают. Значит, что-нибудь да не так в постройке, недостаточно глубокий скворечник, слишком близок его пол к летку. Кошка вытащит птенцов из гнезда, лежащего на дне. Ворона их достанет. Хороша квартира, но с такими пороками взять ее нельзя. И остается скворечник воробьям.

Когда поспеют ягоды, скворцы их клюют. Но это не беда. Если по малине ползет червяк, то скворец схватит все-таки червяка, а не ягоду. Спелые вишни скворцы любят, но в это время выводятся у скворцов второй раз птенцы. Тут не до ягод, опять червячков подавай. Плодов скворцы не трогают совсем.

Скворцов не очень трудно приманить в сад, даже к дому. Они давно привыкли к тому, что их везде любят и готовят для них домики. Гнезд на деревьях скворцы почти не вьют.

На жилище скворец неприхотлив. Он поселится в банке с дыркой, в чайнике с выбитым носом. Только такое жилище надо повесить как следует, не слишком высоко, не чересчур низко, и с таким наклоном, чтобы дождь в дырку не попадал.

В свежевыкрашенный домик скворец на житье не сядет. Должно быть, запах краски ему не нравится. Когда крашенный скворечник повисит года три, скворцы начинают в него лазить, а то даже и не заглядывают. Поселяются в таких неудачных скворечниках воробьи.

Этих нахалов надо гнать. Они жрут все, что попало, но насекомых почти не ловят, а занимают места полезных птиц. Воробьев ничем не выгнать иначе, как разорением их гнезд.

Скворечник со щелями в крыше не годится. Вешать вполне исправный скворечник надо метров на шесть над землей. Своим входом птичий домик должен быть обращен туда, где солнце бывает в полдень, и слегка наклонен вперед. Так дождь в него не попадет, и не дует холодный ветер с севера. Лучше всего для скворечника береза, хуже всего ель.

Прежде чем занять квартиру, скворцы ее тщательно осматривают. Влезут, вылетят, посидят на ближних ветвях и опять влезут. Это еще не значит, что останутся тут жить скворцы. Вот если скворец остался в домике, а другой, сидя на ветке, свистит, фыркает, трепещет крыльями, то тут будет толк: сядут. Самка, значит, принялась за гнездо, а самец поет ей песни.

Синицу иной садовод не любит за то, что она заглядывает в плодовые почки. Садовод прав только отчасти. Синица своим острым, как жало, клювом ковыряет почки деревьев. Но испортит она десятка два почек, а разных ползунов на ветках переловит сотню. Выгода больше убытка.

Голые гусеницы, почти прозрачные зеленые вши, рыжие клопы ползут по ветвям. Таких мягкотелых вредителей погубить просто. Достаточно брызнуть на них известкой, ядовитой жидкостью.

Жесткокрылые волосатые обжоры взбираются на дерево по коре. Этаким можно устроить засаду. Пояс из липкой замазки намазывают на дереве. Это называется ловчим кольцом. Оно заполняется прилипшими обжорами.

Но в саду много вредной мелочи, почти невидимой. Горихвостка сидит на высоком кусте в саду. Чисто подметена дорожка около куста. Ничего на ней нет. Вдруг горихвостка кидается на дорожку, что-то хватается там — и шмыг в водосточную трубу, где у нее гнездо. Значит, кто-то полз по дорожке, незримый человеческому глазу.

Малиновки носят насекомых своим птенцам с утра до ночи. Птенцов бывает восемь. Слетай-ка для каждого по сотне раз в два конца. Бедняжки малиновки ложатся на землю около куста, где у них гнездо, и лежат, распутив крылья: так устают. А через минутку опять за ту же работу.

Боярышник, шиповник, бирючина, жимолость — вот любимые кусты у певчей мелочи. Если верхние ветви кустов, пока они еще без листьев, связать пучком, то образуется навесик. Под ним, когда куст зазеленеет, наверное найдется гнездо.

Никогда не надо пугать дятла. Толстые белые червяки свернулись и спят под корой деревьев. Это личинки вредителей. Дятел их достанет раньше, чем они проснутся и поползут. Долбанет носищем, проломит кору, вытащит червяка. У синиц клювы острые, но тонкие. Им до такого жирного кушанья без дятла не добраться.

Уронит дятел червяка или бросит недоеденного, ну тогда синичья стая летит подбирать.

В голодное, холодное время корм для птичьей мелочи готовится смешанный: зерна с какими-нибудь измельченными мясными остатками. Птичьи носы разберут, кому крошки хлеба и семена, а кому кусочки мяса вместо насекомых. Свертывают кольцо из бересты шириной сантиметра в четыре и обмакивают его в растопленное сало. Пока сало еще не застыло в кольце, его посыпают смесью из крупнотолченых сухарей, конопляного семени, овса, мелких кусочков мяса. Годится конина, самый дешевый сорт мяса, бычье сердце. Их жарят без соли. Потом кольцо на бечевке подвешивается среди ветвей.

Слишком широкое дупло в дереве надо закрыть дощечкой с круглой дыркой в 27 миллиметров поперечником. Сквозь такой леток пролезает пищуха, но ворона не сможет далеко просунуть свой хищный клюв.

В дупло следует насыпать земли с опилками на 1 сантиметр.

Такое безопасное жилище с мягким сухим полом заселится живо. Из обрезков старой проволоки просто сплести плоскую корзинку такой величины, чтобы в нее уместился кулак. Весной повесь эту корзинку в густом колючем кусте или в развилке дерева.

Дня через два подползи из-за прикрытия и осторожно посмотри. Увидишь, что корзинка полна сухой травой, осиновым пухом, мелкими перышками. Живут в корзинке.

В жару надо ставить на метр от земли на шестиках поилки — глиняные плошки со свежей водой. Зимой, в голодное время, необходимы на ветвях кормовые столики с птичьим продовольствием.

Зато летом никого кормить не придется. Пернатая армия поймет, что тут ее берегут, а не хотят убить, поселится спокойно на житье.

И у лесов, полей, садов будет грозная защита от насекомых: птицы клювы.



ЖИВЫЕ ЧАСЫ

Узнать, который час, всего проще, посмотрев на часы. А если часов вовсе нет, то, очевидно, и посмотреть не на что. Горожанину без часов могут помочь лишь чужие часы: на башне, над воротами учреждения, в окне магазина.

Но там, где ни заводский гудок, ни звон трамвая не обозначают начала дня, в тишине полей и лесов у жителя деревни много своих часов.

Они всегда верны, неизменно точны, не требуют никаких расходов, ни починки.

Положить их в карман или держать в комнате нельзя: они показывают время, пока цветут на вольном воздухе. Да, это цветы. Одни закрывают свои чашечки, спят ночью, другие — утром, днем или под ве-

чер; каждый цветок разворачивает венчик в строго определенный час,¹ никогда не проспит ни на минуту, если только никакое происшествие не нарушит слишком чуткого сна. Набежит на солнце туча, прыснет дождь, рванет ветер, и сонно свернувшиеся лепестки, вместо того чтобы раскрыться в урочный миг, сжимаются еще плотнее.

Продолжительное ненастье совсем путает ход цветочных часов.

А ночью, значит, ничего не видеть, нет никаких часов? Совсем не значит. Никтериния, мелкий, но богатый прелестным запахом цветок, раскрывается и сильно благоухает лишь после вечерней зари, а пока солнце не скроется за краем земли, цветок никтеринии — коричневый комочек. Напрасно раскрывать его насильно, он, измятый, не пахнет ничем.

Утром, днем, пока летают ярко раскрашенные бабочки, крепко спит слепец. Сморщенными мешочками повесил он свои крупные цветы. В темноте слепец раскрывает их белоснежными звездами, и сумрачные летуны ночи, гудя, несутся на издали видные лепестки.

Бабочки также летают по часам.

А птицы?

Гулко ухнула, со свистом мелькнула лохматая тень, пропала во мраке у вершин деревьев. То пролетела сова, серая неясность. В кустах шелкает и булькает и трелью рассыпается соловей. Смолк и он. Полная тишина. Прозрачна летняя ночь. Заалела полоска зари. И вдруг точно маленькая-маленькая флейта тихонько высвистывает коротенькую песенку. Это горихвостка начинает утро. Одинокая песенка повторяется всегда приблизительно в два часа утра, в четверть третьего — не позже, в погожий майский день. А за горихвосткой тонко, чисто и нежно свистит малиновка.

Когда бушует вьюга, льет дождь, сугробами лежит снег, тогда с живыми часами, конечно, дело обстоит хуже: они замирают, прячутся, улетают.

Но некоторые из них все-таки действуют исправно, только надо уметь их подсмотреть и подслушать.

В самую жестокую стужу, среди непроглядной тьмы, в хлеву, громко хлопая крыльями, поет петух. Верный будильник, давным-давно испытанный, правильный, точный счетчик времени. Встать с петухами — значит, не опоздать ни на какую работу.

Одни цветы распускаются утром, когда свежо. Другие спят днем в полдень, в жар. Некоторые, как уже сказано, цветут ночью. Почему? Отчего просыпается петух? Зачем он орет свое кукареку в темноте? Тоже никто не скажет.

Но своего рода часы везде несомненно есть.

¹ Можно составить длинную таблицу, обозначая, когда какой цветок ложится спать, когда встает. Например, мак складывает свои лепестки в семь часов вечера, а в пять утра он их раскрывает. Часы необходимо проверить по местному времени. Это значит, что если под Москвой мак просыпается в пять утра, то под Ленинградом он встрепенется, раскрываясь, на полчаса позже. При составлении таблицы для начала без настоящих часов не обойтись.



ЛОВУШКА-БОГАТЫРЬ

Довольно давно изобретена, а теперь замечательно усовершенствована могущественная ловушка.

В лесу, на взморье, по берегам озера, над лугом, среди кочек болота — везде для нее добыча. Вцепляется стальными зубьями, затягивает предательские петли. Она огромна, эта ловушка? Нет, она немного больше двух кулаков, сложенных вместе, сделана из стекла, оправленного в дерево или кожу, никого, ничего ловушка даже не трогает, но, подхватив мгновенный отблеск света, ловит изображения всего и всех. Так это фотокамера? Вот именно.

Маленькая коробка, удобно носимая на ремне через плечо, дает лучшую, более богатую добычу, чем все ружья, крючки и сетки.

Любителю всякой охоты успех важнее, чем добыча. Охотнику интересно то, как выследить, настигнуть, овладеть. Стрелок никогда не думает, вкусной ли окажется убитая утка, а часто лезет за ней в трясины с опасностью для жизни. Человек с удочкой, конечно, понимает, что удобнее, проще, дешевле купить рыбу, пойманную сетью, но сидит, терпит комариную казнь; в другой раз дрожит от холода, сидит мокрый, голодный, выжидая, не придет ли рыба, не клюнет ли на его приманку.

Даже при удаче у победителя остается шкурка, чучело, чаще вовсе ничего не остается, кроме воспоминания. Для любителя оно дороже всего. Фотокамера наловит таких воспоминаний много, сохранит их долго и потом покажет не мертвыми обрывками шерсти или перьев, а в том виде, как они когда-то промелькнули, озаренные светом жизни.

Бесконечно разнообразна, неисчислимо богата охота фотографа.

Медведь, оскалив зубастую пасть, высунул из берлоги страшную морду. Божья коровка вот-вот слетит с былинки: уже раскрыты все четыре крыла. Ястреб спускается на гнездо с мышью в когтях. Стая стрекоз реет над лужей, и прозрачные их крылья блестят. Все улавливает чувствительная пленка.

Хитрое это дело — снимок с диких существ. Никакое оружие не знает скоростей, вполне обычных для ловушки мгновенных отблесков.

Даже не в четверть секунды, а скорее, в какой-то почти неизмеримо малый промежуток времени, фотограф должен увидеть свою цель, навести на нее объектив и щелкнуть затвором камеры. Зато, в случае удачи, какая награда!

Пленка улавливает и показывает то, чего не успевает заметить человеческое зрение. Взгляд ястреба на мышонка в колее дороги, миг стремительного взлета, трепыхание хищника над добычей, — как их подсмотреть? А на снимке их видно. Зевать с фотокамерой некогда, приходится быстро работать фотографу. Подбирается к своей добыче он, наоборот, с мучительной медленностью, иногда неделю ползет с шалашом на спине. Да, иначе не снять тетеревиное гнездо со спящей в нем тетеркой. Гнездо-то не слишком мудро найти на лесной опушке, но если показаться неосторожно, то тетерка улетит, — снимай гнездо с яйцами, это не очень интересно. Тогда, пристроив на спину шалашик из ветвей, человек по ночам подвигается к намеченному месту и на расвете уходит, оставив шалаш. Конечно, чем ближе к гнезду, тем двигаться нужно тише. Глупая курица скоро привыкает к шалашу, подехавшему откуда-то незаметно очень близко. Она сходит с гнезда, хлопчет, торопливо поклевывает, хватая капли росы с необсохших трав. Видно, как она поет: запрокидывает голову. Погуляв немного, тетерка бежит к гнезду, даже крыльями машет, так спешит. Но, прежде чем усестя на яйца, она ворошит их клювом. Считает, что ли, или переворачивает с боку на бок? Кто ж ее знает! И, усевшись, дремлет, повесив нос. А в шалаше, откуда ночью никто не ушел, хлоп да хлоп: снята тетерка во всех положениях.

Крупные птицы недоверчивы и осторожны. Лебеди, гуси, пролетая в дальние края, присаживаются для отдыха на пустынную отмель реки, открытую со всех сторон. Да еще сторожевых выставляют. Никак никому не подобраться. А корова? Ну, это ничего, не страшно. Корову гуси подпускают. Корова подходит, вид у нее странный: четыре ноги у нее висят, а из живота торчат еще две и двигаются. Перед такой диковиной спокойно сидят гуси, лебеди. Птичьим мозгам не сообразить, что идет коровья кожа на подпорках, а в груди «коровы» щелкает затвор камеры, снимающей их — гусей, лебедей.

Пень, хотя бы выдолбленный внутри, на голове таскать тоже не очень приятно, а нечего делать, поносишь тяжелую деревянную шапку, если хочешь получить изображение хищника во время его закуски.

Канюк, беркут, коршун живо заметят приваду, прилетят на нее. Прежде чем спуститься на самую лакомую падаль, зоркие птицы осмотрят ее из такой дали, что сами покажутся пташками, невинно летающими кругом где-то у края неба. И если чуть шевельнется что-нибудь около приманки, пернатый гость, присевший к кушанью, взлетает так стремительно, что снимать его бесполезно: получится очень маленькая птичка. Но все спокойно. Неподвижно, как ему и полагается, торчит пень; около него какой-то обрубок валяется, тоже зелено-желтый. Это

туловище и ноги охотника, одетого в зеленый плащ. Пень? Ничего, пень не навредит, на него при случае даже присесть можно после сытного обеда. С довольным клекотом принимается стервятник за пир, а у пня раскрываются глаза, смотрят в просверленные дырки и — щёлк! Готов снимок хищника во весь рост.

Снимают жирафов, крокодилов, страусов, носорогов на свободе. Снять слона в джунглях или уссурийского тигра в тростниках — заманчиво, только далеко не всем по средствам. А портрет мухи на подоконнике? Это занятно, общедоступно по цене, но вовсе не так просто, как кажется. Пятерней кто же не ловил муху? Нет, ты в объектив образ мухи поймай, попробуй-ка, не раз клюнешь носом о стол.

Снять на полете порхающую в блеске дня бабочку и думать нечего. Присев, дневная бабочка складывает свои крылья, и ничего не остается от ее красоты. Не видать яркой, пестрой раскраски, видна лишь зверская рожа усатого червяка с каким-то темным парусом на спине. Пожалуй, тысячу раз не улучшить, когда при отлете на миг развернутся дивно узорчатые крылья. Значит, бросить безнадежную затею? Совсем не значит. Перехитрить можно. Ловят бабочку, сажают в коробку, коробку ставят на окно, а перед окном пристраивают любимое бабочкой растение. Например, для адмирала с цифрами на крыльях, несмотря на его важный чин, приятнее всего крапива. У капустницы название простенькое, но крылья прелестны, и ясно, какой лист доставит ей удовольствие.

Приготавливают камеру, наводят на фокус, — клочок бумажки заменяет бабочку, пока та спит в коробке. Ночью сонную пленницу пересаживают на место бумажки. Как только блеснут первые лучи солнца, бабочка спокойно раскрывает свои крылья: пора лететь. Хлоп! Кончено. Теперь пльви, адмирал, в свое прозрачно-лазурное море, купайся там в воздушных волнах. Порхай, роскошный махаон, на желтых крыльях с черными хвостиками! И вы, крапивницы, боярышницы, павлиньи глаза, огневки, зорьки, многоцветницы, голубянки, полосатые, крапчатые, разные, всякие, летите куда хотите: ваши изображения отпечатались, остались.

Капельки росы блестят на нитях паутины. Это помогает сделать снимок с паука. А если солнце высушило росу? Тогда хитрый фотограф посыпает белым порошком грязные тенета кровопийцы, иначе не снять хищного ткача в его бесцветных сетях.

Лягушку вплавь не снять: слишком болтается. Ее надо подкараулить на листе кувшинки, где лягушка в полдневный жар спит, вытаращив глаза. В воде скорее удастся снять хищную рыбу. Щука и окунь часто, притаившись, стоят неподвижно около травы.

У лисей норы можно приладить камеру так, что лисица дернет за шнурок и сама себя снимет. Конечно, снимок получится с испуганной лисицы. Гораздо интереснее, как лисица ест, кормит лисят, играет с ними, как она встревоженно слушает, не идет ли кто.

Около волчьего логова возятся рыже-серые лобастые щенята. Их

почему-то всегда четыре. Волчица их сторожит, кормит, учит, приносит живьем птицу, зверюшку, выпускает и показывает волчатам, как ловить добычу. Всю эту волчью жизнь можно подсмотреть. Но напрасно воображать, будто волки ее, свою жизнь, запросто покажут. Курильщику или человеку в сапогах, ступавших по навозу, не стоит и ходить к волкам: никогда не подойдет. Надушенного франта или, наоборот, неряху в пропитанном испариной платье также не подпустят к себе волки. Нет, обдумать надо, как подобраться к волкам. Тут не только видят, слышат, а носом чуют так далеко, что понять нельзя, как это делается.

Впрочем, нечего соваться с камерой прямо к какой-либо дикой птице, даже самой смирной: ничего не выйдет. Сначала надо научиться снимать, как копошится курица, ковыляет утка, трепещут крылья голубей. Когда их изображения отпечатываются отчетливо, тогда, фотограф, уверенно иди в лес и в степь, на взморье и к придорожной канаве. Везде непредвиденная, неожиданная добыча.

Праздная забава живая фотография? Развлечение от безделья, пустая трата времени, денег и хлопот?

Как сказать, все зависит от подхода к делу. Жизнь леса, воды, все эти лапы, крылья, хвосты, качающиеся тростники, цветущие травы — нет, это не пустяк!

Саженьки дров не поставить, стога сена не набрать, лопухого дурачка-зайца не подстеречь без некоторых навыков. А уж, казалось бы, совсем простые дела.

Пользование же множеством деревьев, работа над обширной площадью полей или лугов, правильная охота — все требует сложного знания. Без него на каждом шагу возникают бесчисленные препятствия, как будто непреодолимые и даже непонятные.

Могущественная ловушка впечатлений — фотокамера. Ее стекла вглядываются в тот сумрак жизни, куда не проникает обычный взор человека. Слепой и голый птенец кукушки, лежа в чужом гнезде, подсовывается под соседа, также птенца, и выталкивает его вон, за борт, на смерть. Фотография подсмотрела и удостоверила эту тайну птичьих гнезд, а без камеры охотника, пожалуй, еще долго никто не узнал бы, какими злодействами занимается ничего не понимающий подкидыш кукушки.

Не мало крупных научных открытий за фотографией даже в наблюдении звезд бесконечно далеких, но это другое дело.

Снята бабочка, проснувшаяся после коробки на цветке? Да, вполне. Превосходный вышел снимок. Очень мило, прелестно. Но...

Но если тем дело и кончилось, — вот это пустяк, забава, безделка, чепуха. Нет, ты проследи врага во все минуты его жизни, подсмотри одно за другим все его превращения, заметь, как он прячется. Кто? Бабочка — враг?! Ну, конечно. Ненасытные полчища обжор грызут, сосут плоды и ягоды, цветы и семена трав, протачивают древесину, обглаживают овощи. Мохнатые, полосатые, бородавчатые, даже рогатые гусе-

ницы, отвратительные червяки — все они поколение прекрасных бабочек. Они поползут скоро после трепетания узорчатых крыльев над зеленым листком, где красавица оставила грудку едва видных яиц. Дождись, когда дунет холодный ветер осени, увидишь, как червяки свернутся в паутине, повиснут темными, как будто безжизненными куклами, заснут на зиму, чтобы весной вспорхнуть на пестрых крыльях.

Поймать изображение врага во все мгновенья его жизни; в отчетливых, ясных, точных снимках представить весь ход его развития — это уже знание, сила, могучее оружие. Такая работа полезна и поможет уничтожить обманщика-паразита при самом его зарождении, спасти леса и поля, сады и огороды.

Бабочка — только пример.

Не плохо снять кузку, темно-зеленого жучка, выедающего цветенья ржаного колоса. Интересен хрущ, майский жук — губитель молодых березок.

Хрущу нужно четыре года на то, чтобы из скверного червяка превратиться в четырехкрылого красавца. Не брезгай, раскопай смрадное жилище личинки хруща, рассмотри, как она свернулась в навозной куче.

Подстереги переселение подрастающего хруща на гряды огорода, — увидишь, как толстый белый червяк с желтой головой грызет нежную завязь овощей. По едва распустившимся листьям березы ползают молодые жуки и вдруг слетают, гудя, в прозрачном сумраке весеннего вечера. Все это снимки из жизни хруща; их много наберется в течение четырех лет.

А мыш-полевка? А суслик, крот? Какие ходы, коридоры, кладовые в их жилищах? Какие у них детеныши? Ну-ка, ухитрись,ними полдюжины мышат в осторожно раскопанной норке.

А сорока?

Она устраивает два — три гнезда кое-как — для вида, для обмана врагов, и одно настоящее с крышей. Усаживается в свои гнезда сорока по-разному? Как? Фотография скажет.

А воробей?

Пара этих воришек выводит птенцов четыре раза в год. Всегда ли одинаково или с какой-нибудь разницей? Посмотри повнимательней за расстрепанным гнездом воробьев и отпечатай на пластинках.

Не перечислить всех примеров для последовательных снимков, всех случаев, когда может сослужить большую службу живая фотография. Их сколько угодно. Выбор зависит от взгляда охотника.

Необходимо изучить множество приемов, хитростей, уловок. Трудно? Да. Пожалуй, покажется, что даже скучно. Но если любитель природы овладеет искусством ее снимать, то он навсегда покинет всякое оружие, кроме светового, бросит ружье, удочку, сетки, будет охотиться только с фотокамерой. Почти чудесная ловушка никого не убивает, ничего не разрушает, а ловит и дает больше, лучше, разнообразнее, чем все иные способы охоты.



ПРЕДСКАЗАТЕЛИ ПОГОДЫ

Акацию ты знаешь очень хорошо. Из ее стручков легко и просто делятся свистульки. Но, конечно, ты никогда не обращал внимания на то, как пчелы летают над невзрачными цветами акации. Не слышать там жужжания, мало копошится пчел среди мелких желтых лепестков? Ну, значит, долго простоит хорошая погода. А гудят протяжным басом, толкуются наперебой, тянутся черными вереницами толпы работниц на прозрачных крыльях, — близко ненастье. Акация перед дождем раскрывает венчик своего цветка, сладкий сок там вкусно пахнет, и пчелы жадно летят на добычу.

Горицвет свои белые или пурпурные цветы раскрывает лишь после захода солнца. На опушках леса, в кустах по окраинам пашни растет этот сильно пахучий цветок. Слушай, смотри! Гудя, точно жук, летит лиловый бражник — крупная сумеречная бабочка, мимо горицвета летит, не присаживается на заманчивые лепестки. Значит, прячет в глубине чашечки горицвет, затаивает свой пахучий сок. Жди ясного завтра дня!

А спешат к горицвету крылатые лакомки, жадно пьют обильный сок, — завтра в серых облаках встанет солнце, повиснет дымка дождя.

Растения предчувствуют появление желанной влаги, готовятся по-больше ее выпить и раскрывают свои чашечки.

Белокрыльник растет по торфяным болотам. Снаружи зеленым, внутри белым покрывалом закутывает он свой цветок. Вдруг крыло отгибается, как бы приглашая сюда всех мимо летящих: садись сюда и пей! Опять то же. Белокрыльник никого к себе не зовет, он сам приготовляется пить.

В огороде простая морковь также предсказывает погоду. Пушистый зонтик моркови, как будто увянув, поникает перед дождем.

С крупных листьев конского каштана липкий сок иногда стекает на землю суток за трое перед ненастьем.

Не перечислить всех растений, предчувствующих погоду. У одного это делают цветы, у других ветки. Поди посмотри!

Большая сложная наука, называемая метеорологией, наблюдает за погодой. Множество хитрых приборов отмечает холод, тепло, количество влаги в воздухе, скорость и силу ветра. Все это знаками, цифрами отмечают, ветру ставят баллы. Торчком тянется кверху дым из трубы —

ветру нет балла, а несется вихрь, ломает старые деревья, рвет железные листы с крыш, — тогда ветру 12 баллов: это уже ураган.

Метеорологическая обсерватория печатает карты, где условными обозначениями указывает на предстоящие перемены погоды. Наводнение, бурю, ливень с помощью приборов, вычислений, записей предсказывают за несколько дней. Путь ледоколов, вылет самолетов вдвойне опасны без справки о погоде.

Но понюхай жимолость, перегни стебель болотного хвоща так, чтобы он лопнул. Сильно пахнет гибкая ветка с мелкими листками, много жидкости в изломе высокой травы болота? Сделать это ничего не стоит, а может предупредить о потоках, угрожающих испортить сенокос или занимательную прогулку.

О ЛЕСНИКЕ

(1870—1941)

Неисчислимы загадки лесной жизни; кажется, самим их никогда и не разгадать. Но вот приходит бывалый охотник и ведет вас на болото, к реке, в лесную глушь; заглянет с вами в самые затаенные лесные уголки. Там он покажет такое, что только умелому следопыту-разведчику и дано подсмотреть. А потом у ночного костерка расскажет он о всяких удивительных охотничьих встречах да случаях. Сколько перед вами раскроется маленьких тайн, разгадается загадок! И тогда, даже если вы совсем юны и впервые попали в лесные края, — поймете: жизнь леса, воды, все эти лапы, крылья, хвосты, качающиеся тростники, цветущие травы, — все это не пустяк, все это интересно узнать. И вам, уже непременно самим, захочется пойти на охоту, на болото, в лес; отыскать какую-нибудь заводь и тоже увидеть что-то новое, удивительное; самим разгадать какую-нибудь, хоть крохотную, загадку, открыть маленькую тайну природы. А затем с восторгом и волнением от пережитого рассказать своим друзьям обо всем увиденном.

Ведь так родились и те рассказы бывшего охотника Лесника, которые собраны в этой книге. Их написал Евгений Васильевич Дубровский.

Он вырос в семье военного врача, где все — отец, мать, брат, друзья — были охвачены страстью к охоте, рыбной ловле. Рано пробудилась и у мальчика любовь к родной природе. С двенадцати лет началось у него увлечение лесными прогулками, рыбалкой, первой самостоятельной охотой. Оно сохранилось на всю жизнь. И чем взрослее он становился, тем серьезнее и сильнее росла у него тяга к лесу, к охоте, к природе. Но обстоятельства сложились так, что после окончания университета будущий писатель вынужден был почти безвыездно более двадцати лет жить и работать в городе. Только урывками в эти годы удавалось ему выбираться на охоту.

Мечта заняться делом близким к родной природе осуществилась лишь на сорок пятом году жизни. В 1914 году он уезжает на Урал и здесь больше десяти лет работает лесничим.

Вот теперь-то и началось настоящее, пристальное изучение леса. Вышагивая сотни километров по лесным тропам, месяцами — зимой и летом, весной и осенью — не вылезая из тайги, ночуя у костерка, живя

подолгу на лесных кордонах, — до тонкости узнаёт лесничий жизнь деревьев и трав, птиц и зверей. Годами накапливались охотничьи впечатления, собирался материал для будущих его очерков и рассказов. Сколько за это время было удивительных лесных встреч, затруднительных положений, интересных происшествий, забавных приключений, поучительных историй! И как хочется рассказать обо всем этом другим, тем, кто так мало знает о жизни леса, о жизни природы!

Когда в 1924 году Евгений Васильевич Дубровский возвращается в Ленинград, он сразу же, всерьез, берется за литературную работу. А ведь ему уже к этому времени исполнилось пятьдесят четыре года.

В «Вечерней Красной газете» появляются его первые очерки — «Прозрачный рынок» и «Весенние голоса», — подписанные не случайно выбранным именем: Лесник. С ним он вошел и в детскую литературу, сохраняя верность своей главной теме — лесу и охоте.

После первых книг для взрослых: «Щучья свадьба», «У воды», «Рыба и крючок» — одна за другой выходят в 1928 году его первые книги для детей: «Волк», «Селезень Сашка», «Самолов», «Первый снег», «Тетеревенок-великан».

В них, да и в других своих лучших книгах («Встречи в лесу», «Далекие годы», «В лесу») приходит Лесник к своим юным читателям, как бывалый охотник-следопыт, старший товарищ и друг. Он ведет их по лесным тропам, увлекая живым рассказом, зажигая охотничьим азартом, открывая перед ними богатый и разнообразный мир природы родного края. Он учит быть в ней добрым хозяином, смелым охотником, защитником лесных богатств, разведчиком.

«Везде много интересного, только надо уметь искать, надо научиться, привыкнуть повнимательней смотреть, слушать и даже нюхать» («Лесной разведчик»).

Он прививает любовь к родным местам и полям, пробуждает пытлиую любознательность.

«Вперед, пионеры, вперед, комсомол! В поход на разведку... тайн... на точное, кропотливое исследование...»

Не надо бояться ошибки. Смелей, юннат! Ошибка возможна, она пустоцвет, из нее ничего не выйдет. А прилетит, сверкнув, свежая правильная мысль, лови ее, береги: она процветет и принесет плод» («Чужаки»).

Рассказы Лесника помогают узнать поближе природу. Да и не только узнать, но и полюбить ее; на всю жизнь запомнить красоту вечерней зорьки, птичьей песни, ночного костра, лесного аромата.

«Одна за другой погасли розовые полосы на краю неба. Сначала зеленый лес посинел, потемнел, завернулся в полупрозрачное белое покрывало. Бледный костер вдруг вспыхнул ярким пламенем и отразившись с обрыва берега красным пятном, задрожал в потемневшем зеркале реки» («Милый голос»).

Ведь эта красота сделала Е. Дубровского писателем, певцом леса.

«На рассвете в алых отблесках утренней зари, в зное жгучего полдня,

вечером в золоте погасающих лучей, во всякую пору дня в течение всей жизни куда-то меня звала, о чем-то пела мне кукушка» («Милый голос»).

За семнадцать лет литературной работы Евгения Васильевича Дубровского (Лесника) вышло около четырех десятков его книг, большинство из которых (свыше тридцати) написаны для детей.

Книга «Лесные тропы» составлена из лучших рассказов и очерков, ранее помещенных в разных сборниках («Далекие годы», «Лесные были», «Лесной шум»).

Гр. Гроденский

ОГЛАВЛЕНИЕ

В ЛЕСУ

О разведочном деле	5
В лесу	6
Дыхание листьев	11
Ссора	13
Рысь	14
Песня земли	17
Бельчок	19
Волчья заводь	22
Лисий выводок	30
Засада на волчицу	32
Страшная птица	37
Совы	39
Птенцы	41
Маленькие кольца	59
Охота за грибами	61
Прозрачные дни	72
Подъюрлок и нодья	75
Заяц	78
Листопад	82

У ВОДЫ

Поход	87
Утятница	90
Торжественный день	92
Водяная пустыня	95
В камнях потока	98
На рыбной ловле	100
Уклейка	102

Рак	104
Лещ	106
Щука	109
Налим и сом	112
Чудовище	116
Воришку обокрали	120

Д О М А

Кот	125
Фатка-герой	129
Мои собаки	132
Федюшкина крыса	144
Шайка	145
На голубятне	146
Хромой скворец	151
Слоны приехали	160
Смерть слона	165
Медвежья хворь	169
Освобожденный медведь	172
Домашние львы	175

Ж И В Ы Е Ч А С Ы

Сморчок и ландыш	181
Помощь друзьям	183
Живые часы	186
Ловушка-богатырь	188
Предсказатели погоды	193
О Лесняке	195

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных вами книгах и пожелания об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.

ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Лесник (Дубровский Евгений Васильевич)

ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ

Ответственный редактор Н. К. Неумякина. Художник-редактор Ю. Н. Киселев. Технический редактор Л. Б. Леонтьева. Корректоры А. К. Петрова и Л. К. Малайко. Формат 70 × 92^{1/16}. Подписано к набору 2/IX 1958 г. Подписано к печати 23/1 1959 г. Печ. л. 12,5. Усл. п. л. 14,59. Уч.-изд. л. 12,69. Тираж 100 000 экз. Ленинградское отделение Детгиза, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 373. Цена 4 р. 80 к.
2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.

